

Татьяна Нешумова глухой ушастый

Татьяна Нешумова



глухой ушастый



М У З Е Й

М А Р И Н Ы

Ц В Е Т А Е В О Й



Татьяна Нешумова глухой ушастый

Москва
Дом-музей Марины Цветаевой
2014

УДК 821.161.1(081)Нешумова Т.
ББК 84(2=411.2)бя44
Н59

Оформление и вёрстка Татьяна Волохова

Рисунки на обложке

Елизаветы Ванеян и Марии Меладзе

Нешумова, Татьяна.

Н59 Глухой ушастый : [автобиограф. проза, стихи] / Татьяна Нешумова. – М. : Дом-музей Марины Цветаевой, 2014. – 232 с. : ил.

ISBN 978-5-93015-151-0.

В книгу вошли стихи последних лет и автобиографическая проза «Чувство реальности» о детстве и юности автора, московского поэта, автора книг «Нептица» (1997), «Простейшее» (2004), «Счастливая твоя внука» (2010).

УДК 821.161.1(081)Нешумова Т.
ББК 84(2=411.2)бя44

Содержание

7 чувство реальности

161 стишки после книжек

«Сердце сказало: беги, беги...»	162
«Верните! Юность и нищету...»	163
«Воробей Катулла не для меня...»	164
«...я убегаю в лес...»	166
«Заболит ли солнце красное как горло...».....	167
Барка брака («любовная лодка»)	168
«Павленко, дом 3...»	170
«Авеля печаль...»	171
«Он засыпал и видел, как в кино...»	172
Глухой ушастый	173
«В растерянном пятистишье не видно слов...»	174
«Лисички-сестрички...»	175
«куинбус флестрин...»	176
«Некоторые топят печки...».....	177
«Воланчик на полу, волчанник и волнушка...»	178
«полян зеленая трава...».....	179
«... и когда все слова...»	180
«Устала голова болеть...».....	182
«если ты уедешь...»	183
Стихотворения для очень сухой кожи	185
«...Если б ангелы были людьми...»	187
«в темноте...»	188
«Убегающих слов голуби и голубки...».....	189
Старомодный стишок	190
«В траве сидит остаток дней...».....	191
«Чем лес живет? ...»	192
«Палочки, корешки и трава...».....	193
«Теряя связь прекрасных ног...».....	194
«вы вернетесь...»	195
Метафизика пола.....	196

Над именованным указателем.....	197
«живи себе...».....	198
«Старые жены – как сношенные башмаки...»	199
«воздух не хлопает».....	200
«жена...»	201
«книга Минович...».....	202
«мой влажный господин-слуга...».....	203
«скажи покажи акажу...»	204
«Все умрут, а я удмурт»	205
«Много забываемого...»	206
«Приходили два циклопа...»	207
«Попеременно Морфей слетает...».....	209
«За чашечкой кофе...»	211
«На румяных коленях...».....	212
«сердца у птицелова нет...».....	213
«сварила гречку комсомолка...»	214
«Мы гуляем по улицам...»	215
«ходим как два сапога...»	216
«Через толщу воды свет...».....	217
«Сером глазом чайка не видя смотрит...»	218
«Под водой на счет до семи и даже...»	219
«Эту ночь ты спишь, ну а мне не спится...»	220
«ты спишь...»	221
«Возле метро ларек “Сабвей”...».....	222
Всё ничего	223
«Так хорошо на лавочке у морга...».....	224
«таковажи...».....	225
«...упс! спасательный круг...»	226
«Зимний бог из темноты...».....	227
«слова в которых мы живем...».....	228
Как устроен мир	230
Парка	231

чувство реальности

Вчера ночью уговорила В. прогуляться до спортивной площадки. По дороге стала рассказывать, что на днях перечитывала свой дневник 1988 года, и там одним из лейтмотивов не раз повторяются слова Шерчика: «Шумчик, у тебя совершенно отсутствует чувство реальности». В., внимательно меня слушая, сказал: «Шумчик, ты не заметил? Мы уже прошли поворот к спортивной площадке, но если хочешь, то, конечно, пойдём дальше».

Душа моя – странница,
Не здешнего мира ты,
К чему прилепляешься
И чем очаруешься?
Ты птичка залетная,
Пурхая по радостям,
Пришла в дебри страшные
Неведенья дикого.

*Песня квакеров, переселившихся в Россию,
записана Н.С. Лесковым*

Я родилась 8 сентября 1965 года в Москве, в роддоме № 1. Мама добавляет: «и кроватка № 1 — в палате № 1. Я обошла всех детей в палате, ты была самая красивая». Потом, спустя 26 лет, эта уверенность в превосходных качествах своего ребенка обнаружилась и во мне: я помню, как посмеивалась Нона, моя замечательная свекровь, когда я спрашивала у нее: «Нинель Моисеевна, ведь Кирюша объективно красивый мальчик?».

Мамин рассказ: накануне родов она купила слив и закрывала банки со сливовым компотом (не это ли обстоятельство стало причиной моей особого рода хозяйственности? вроде бы основательное домашнее дело, но на сливовом компоте далеко не уедешь...).

Мамин рассказ: папа должен привезти детские вещи, чтобы забрать нас из роддома, но он (с дедушкой Сережей и моим братом Вовкой) забывает их в такси. Ходят под окнами и боятся показаться маме на глаза. В результате меня увезли в пуховом платке под оханье сердобольных нянечек. В конце рабочего дня таксист обнаружил мое приданое в машине и привез к нам домой. «Мы» — это мама, папа, брат Вовка и бабушка — баба Ната, мамина мама.

Первые воспоминания: Госпитальный вал. Узкая комната-пенал (мы жили в коммуналке, где занимали две комнаты из трех). Во дворе забивают козла в домино. Сбоку от дома овощной, где летом продавали арбузы. Теперь наш

дом снесен, на его месте новый, высокий. Я вижу его, когда еду на трамвае на Немецкое кладбище. Мама жила в этом старом пятиэтажном доме на 3 этаже со школьных лет. Раньше были переводные экзамены из класса в класс, и мама любила готовиться к экзаменам, сидя на лавочке перед какой-нибудь старой могилой. Мне подумалось, вдруг одной из них была могильная плита Софии Парнок? Я так и не разыскала ее на Немецком кладбище.

С 1968 г. на Юго-Западной. Мамин рассказ: она со мной и Вовкой приехала смотреть пустую квартиру. Весна. Я умудрилась провалиться в глубокую яму с водой у дома. Пока над газом сушили одежду, меня завернули в мамину юбку — больше не во что было. Мне три года.

Еще мамин рассказ: на «голубой даче» (дом голубого цвета на станции Отдых по Казанской железной дороге, в котором жили семьи сотрудников издательства «Химия» — там работала редактором папина мама, моя бабушка Люся) мама увидела, что я заворачиваю в платок Вовкино игрушечное ружье и нянчу его, и поняла, что мне пора покупать первую куклу.

Первую куклу я не помню. Помню, что папа, почти каждый день, возвращаясь с работы, приносил мне гостинец: или ириску, или маленького пупсика, или пластмассовую куколку. У меня была Дюймовочка — pistolетик в цветке, листья которого раскрывались от движения пружинки. Пупсики продавались с приданым и стоили рубль.

На той же голубой даче ступеньки были очень высоки: я любила наблюдать, как наш щенок Чапка, чья квадратная голова была всего вполовину меньше туловища, спускается с крыльца. Спрыгнуть она боялась и, свешиваясь все ниже и ниже, пока голова не перевесит, последовательно переваливалась со ступеньки на ступеньку.

*

Одно из первых воспоминаний на Юго-Западной: двор (дорожки) засыпали рыжей кирпичной крошкой.

Это очень красиво. Я сбегаю по ней вниз. Крошка еще долго не уходила в землю, и классе во 2-м, в соседнем дворе 113-го дома по проспекту Вернадского, где горки-спуски к дому были еще круче наших, однажды я кубарем летела вниз, споткнувшись в самой верхней точке пути. Несколько кувырков — и на коленках моего малинового шерстяного костюмчика засияли дыры. Через пару секунд добежали дворовые подружки — среди них несколько японских девочек, которые жили в одном из трех «крестов» (так называли дома по улице 26 Бакинских комиссаров, повторяющие в плане форму креста).

Несколько раз мы заходили в японские гости. Там — детский девчоночий рай: наклейки, фломастеры, мягкие ластики ярких цветов (а не такие как у нас: твердые, дерущие бумагу, серого, серо-голубого или бывшего бордового цвета, счастливицы владели резинками сразу двух оттенков), точилки-игрушки и комиксы, человечки в которых с огромными глазами в пол-лица (видимо, такими японцы видят европейцев) мне казались высшим идеалом красоты. Ластики пахли как фрукты, их хотелось попробовать на вкус (и мы пробовали). Уходили с дарами: детскими журналами-раскрасками, герои которых были близнецами мультфильмовских персонажей: тогда только появились японские «Корабль-призрак» (с его завораживающим рассказом о напитке бао-джус, за 10 крышечек которого полагался приз. Но никто не доживал до этого, потому что, выпив 10 бутылочек, человек растворялся, таял в воздухе. Не потому ли и купили этот мультфильм? Косвенным образом он снижал образ американской кока-колы, вкус которой более или менее представляли те, кто попробовал глоточек пепси — бутылки этого напитка продавались почему-то только на Черном море) и «Кот в сапогах». Сцена дележа наследства: два старших брата сидят под столом, закрывшись скатертью, и делят деньги: «Леман, Леман, Даниэль,

Даниэль». Поднимают глаза на портрет отца и видят, как нахмурены его брови. Тогда кидают монетку младшему — Пьеру.

Японские дары мы отчаянно меняли. Хорошо помню, как я обнаружила в себе способность к тонкому психологическому расчету. Мне страшно нравилась доставшаяся Бэльчу (Свете Б., ходившей со мной еще в детский сад у метро «Проспект Вернадского», потом в сад во дворе дома) наклейка: цветок с зелеными листьями (8 лепестков) и желтой круглой серединкой. Папа привез мне из ГДР жвачку риглесперминт, 5 пластинок в пачке. Я позвонила Бельчу и предложила обмен: цветок на 2 пластинки жевательной резинки. «Не-а, не хочу», — сказал Бельч. И тогда я не стала канючить, уговаривать, а просто отрезала: «Ну, как хочешь». Села над телефоном и стала ждать. Не прошло и пары минут, как Бельч позвонил и сказал: «Я согласен». Цветок был приклеен на зеленый торшер. Долгие годы — всю первую половину школьной жизни — он утешал меня, почти сливаясь лепестками с зеленым жестяным абажуром торшера.

Жевательная резинка была детской валютой. Помню, как единственный раз в жизни баба Ната выдрала меня ремнем в ванной. И за дело: во втором классе я уговорила свою подружку Чеха забраться на крышу нашего девятиэтажного дома. (Чех — Инна Чехова. Мы дружили с 3-х лет. Связь наша характеризуется чудесной историей: в 1990-м мы с Чехом одновременно носили в животах: я — Кирюшу, Чех — Настю. Узнав, что меня увезли рожать, Чех достала направление в родильный дом из консультации и села на стул у телефона, полагая, что если срок родин пришел одной из нас, то другая должна подготовиться и терпеливо ждать тех же событий. Но Настя появилась лишь две недели спустя).

Итак, мне, восьмилетней, удалось уговорить восьмилетнего Чеха подняться на лифте на девятый этаж, пройти последний пролет лестницы, поднять крышку люка и шаг-

нуть на крышу, потому что ее сразила моя фантазия. Я уверяла, что у нас на крыше лежит тонна фиолетовой жвачки, еще не разрезанная на пластинки и не упакованная в серебряные бумажки с краями елочкой — бери сколько хочешь. С улицы кто-то увидел наши хвостики и косички на крыше, сказал бабушке, и наступила расплата.

Других случаев, чтобы меня наказывали, я не помню. Более того, бабушка даже могла участвовать в дуракавалянии, обожаемом мною в 10–12 лет. Приходя из школы, я говорила ей: «Привет, паприка!» «Привет, кетчуп!» — неизменно отвечала она, по моей просьбе выучив свою роль: «Паприка Кетчуп» было написано на стеклянной бутылке болгарского кетчупа, с которым я до сих пор люблю есть гречневую кашу. Бабушкина гречневая каша (принесенная из-под подушек, где она упревала), бабушкины котлеты и соленые огурчики — райская трапеза, меню, которым я хотела бы закончить свои дни, — или начать те, о которых нам не дано знать...

*

Один из первых запомнившихся снов. Приснился летом, на даче. В этом сне мы жили не на третьем, а на первом этаже, и сюжет сна заключался в том, что я возвращаюсь с дачи, и меня ждет на первом этаже голубое пианино (пианино было мечтой, мне купили его во 2-м классе на деньги, вырученные от продажи черных клубных щенков нашей Чапки, шотландского терьера. Но не голубое, а черное, старинное, фирмы Goetze-Berlin, с бронзовыми подсвечниками, резными розами и настоящим модератором, выдвигавшимся слева от клавиатуры. Точно такая же модель изображена на иллюстрации Л. О. Пастернака к «Воскресению» Толстого). Трудолюбия во мне тогда совсем не было. Первый домашний учитель Владимир Иванович не очень умел пробудить у меня музыкальный дар (и дара, должно быть, просто не было). Выступив на детском концерте в мамином институте

с вальсом собственного сочинения (сохранилась фотография: я стою, прижав в волнении палец к губам, и не вижу фотографа — жду очереди выступить; на мне еще не порванный малиновый костюмчик с белыми нарядными вставками), — я бросила занятия. Потом, года через два, ненадолго возобновила (побывав в пионерском лагере, восхитилась умением ровесницы). Опять бросила. В 5-м классе год отучилась в музыкальной школе на проспекте Вернадского. Ездили туда с Чехом. Помню, как отчаянно болели щеки после уроков хора. Вся занятие мы или пели, или хохотали, восхищенные шуточками нашего хормейстера. Чех музыкальную школу закончил. А я — опять — бросила. Потом считала виноватыми родителей, не проявивших жесткости и не ставших меня принуждать.

*

Чапка — как же я любила ее! Не очень-то осознавала это. Просто она была моим верным товарищем: мы обо-жали играть вместе. Игр было две. Или прятки: я пряталась за дверью, а Чапка меня всегда с восторгом находила. Или «сэшки». Эту игру мы придумали вместе с Чехом. Морковка резалась пополам и кружочками. Получались кусочки в форме буквы «с». Состояла игра в том, что мы ложились рядышком на пол, задирали кофты, чтобы оголить живот. На пупок клали сэшку и звали Чапку. Она прибежала и осторожно снимала зубами морковку с живота, а потом — что сравнится с этим удовольствием? — ее нежный, шершавый, влажный, теплый язык слизывал с нас «остатки».

На конкурсе собак ее породы Чапка заняла пятое место по Москве и получила большую золотую медаль. Папа, не веривший в успех предприятия, отказался в нем участвовать, и диплом к медали был выписан на мамино имя: «Светлана Нешумова, сука черная...». Медаль потеряли в одну из первых прогулок после выставки: папа, желая похвалиться во дворе Чапкиным успехом, надел медаль

на ее худенькую гладко бритую шею. За длинной бородой, которую оставляли по фасону стрижки, медаль было не разглядеть, шелковая лента легко развязывалась и соскакивала... До чего же смешной была эта модная собачья стрижка! Под руками собачьего парикмахера, который навещал нас раз в год, Чапка превращалась в настоящую даму — спина и шея гладко побриты, а нижняя часть превращена в юбочку, хвост черной морковкой торчит под углом 70 градусов, брови и борода оставлены. Если бы мы жили в Тарусе, Чапка вполне могла бы выступать в роли «собачки с маленькой бородкой», о которой писал Заболоцкий.

Роль прачки тогда бы досталась бабе Нате — на ней держался бытовой уклад всего нашего дома. Наталья Филипповна Коняхина — полное ее девичье имя. В деревне под Вязьмой, где она родилась в крестьянской семье в 1906 году, была церковно-приходская школа, четыре класса которой и составили все бабушкино образование. Из рассказов бабушки о школе я запомнила только один, как ее, в чем-то проштрафившуюся, поставили в темном углу на горох: на голый пол рассыпали горошины, которые больно впивались в колени. Еще помню зимний рассказ о главном детском удовольствии: собирали подсохшие коровьи лепешки, обливали их водой, и получались лучшие на свете ледянки, на которых, кружась, съезжали с горок.

Когда бабушке исполнилось 16 лет, умерла ее мама. Сидит она на лавочке, плачет, а проходящий молодец, шутя, отбирает у нее платочек, которым она утирала слезы. «Что же ты обижаешь сироту?» — кажется, эта фраза и составила бабушкину судьбу. Обидчик очень скоро стал ее мужем. Как-то раз пришел к колонке, где она полоскала белье, прямо оттуда повел ее «расписываться» и увез в Москву. Звали его Петр Константинович Данилевич. В 17 лет он бежал из своей польской дворянской семьи (его предки имели какой-то вес при Варшавском дворе, отец был начальником железной дороги Москва —

Минск, имел в Смоленске каменный дом, прислугу). Бежал, чтобы участвовать в русской революции. Понятие «сын полка» появилось, кажется, только в Великую Отечественную, но дедушка в Гражданскую был именно сыном полка, а потом стал одним из тех, у кого должны быть «чистые руки, горячее сердце и холодная голова» — иначе говоря, он служил в ЧК, занимался безопасностью железных дорог, главными его врагами — насколько могу судить по бабушкиным и маминим рассказам — были бандиты. В 37-м был расстрелян его родной брат, и друзья, спасая деда, устроили ему перевод из Лубянки на московский авиазавод, который в Великую Отечественную дед эвакуировал и на котором позже простой работницей служила бабушка. Мама рассказывала, что Петр Константинович был добр. Ей запомнилось, как однажды в метро дед обратил внимание на бедно одетую девочку, ее ровесницу, подошел к ней и дал сто рублей, по тем временам очень большие деньги. Баба Ната недовольно заворчала, но дед сказал: «Представь себе Свету на ее месте». Ход мыслей естественный. На фотографии 30-х дед Петр сидит в кабинете за большим столом с телефонными аппаратами. Три, кажется, шпалы в петлицах.

Пережив войну, дед внезапно умер от третьего инфаркта в 49 лет по дороге на рыбалку. Это было 11 сентября 1953 года. После похорон у мамы появилась седая прядь и на месяц отнялась нога. Чтобы она могла, не работая, доучиться в институте, продали дедушкину машину с гаражом и пустили жильцов.

Бабушка замуж больше не вышла, хотя, как минимум, одного кандидата я помню: дядя Фима, Ефим Борисович, часто приезжал к нам уже на Юго-Западную. Когда я возвращалась из школы, я еще с косой дворовой дорожки видела его абсолютно лысую голову на нашей кухне. Это означало, что бабушка уже накормила его обедом, и они играют в тысячу. Под большим секретом

он рассказывал маме, что был в 1937-м прокурором в Дальневосточном крае, а потом сам «загрел», т. е. получил, по счастью, не пулю в затылок, а «всего лишь» срок. В начале 70-х он жил в городе Видное. Бабушка кормила его, играла с ним в карты, но замуж отказывалась наотрез. Я всегда просила дядю Фиму прочитать мне еще и еще раз стихотворение о нищих дервишах, встретивших в пустыне скульптуру Будды и укоряющих: «Или нам жрецы твои солгали, что ты кроток, милостив и благ, что ты любишь утолять печали и, как солнце, побеждаешь мрак?». Пристыженное их речами изваяние Будды наклонялось, «чтобы взять алмаз они могли». И Фима, торжествуя вместе с дервишами, пропевал последние строки: «Бог, великий Бог, лежал в пыли!!!». Тогда мне и в голову не приходило поинтересоваться, кто же автор стихотворения: я вместе с Фимой вновь и вновь переживала чудо этой легенды. А недавно выяснила, что бывший советский прокурор читал мне Мережковского.

Моя посуда, баба Ната часто пела. За бабушкины котлеты специальный тост поднимал Игорь Александрович Антонов, директор маминого института ВНИИавтогенмаш, как-то раз заехавший к нам в деревню Драчёво, где мы снимали полдома три летних сезона — мои второй — четвертый классы. (Игорь Александрович был кумиром моего детства: когда мы с мамой приезжали к ним на дачу во Внуково, я забиралась на второй этаж, где жили старые журналы, а он торжественно приносил мне на тарелочке бутерброды с докторской колбасой, и я бывала на вершине блаженства. Очень красивый, с благородными нездешними манерами, с редким внутренним ритмом, первые 17 лет жизни он прожил в Англии, где служили родители. А когда приехал в Москву, долго не мог войти в трамвай — привык уступать дорогу дамам. И — не отвык).

В Драчёво родители только навещали нас на выходных, а пасли нас с братом в деревне родители папы, баба Люся

и дед Сергей, и бессменная баба Ната, которая готовила на всех. Ее наполеоны, коржи для которых остывали на кухонных полках и ждали прихода гостей, всегда были предметом моего кулинарного вождения. Совершенно не помню, как они таяли во рту, но эти взгляды — под потолок на кухне — со мной. Дед Сергей разгадывал кроссворды, баба Люся заботилась о бабушке и повелевала сферами, а мыла, готовила и стирала баба Ната. В детстве мне казалось это настолько естественным, что и в голову не приходило, что возможен другой порядок вещей, более справедливый. К тому же доверия к кулинарным способностям бабы Люси у меня не было: у бабы Наты суп всегда уже был готов, а у бабы Люси я впервые увидела, как снимают с куриного бульона пену — так называемый «шум» — и решила, что баба Люся просто неаккуратная хозяйка, раз у нее в бульоне может плавать «такое».

Надо сказать, что мои представления о мире вообще были не очень сбалансированными. Например, с ранних лет я знала, что предметы от нагревания расширяются, поэтому довольно долго пребывала в убеждении, что перец горошком, который плавает в тарелке супа, — «расширенный» молотый черный перец из перечницы.

В деревне Драчёво я одно время была увлечена честолюбивым планом. Речка, отделявшая кладбище и старую полуразрушенную церковь с растущими на колокольне березами от домов колхозников, вдруг заросла ряской, и я каждый день садилась с дощечкой в руках на берегу, вытаскивала зелененькие кружочки и мечтала о медали, которую в конце лета мне, конечно, вручит за очистку воды председатель колхоза. Над моей головой иногда пролетала тарзанка, привязанная к иве на другом берегу, — речка была узенькая.

*

При этом я знала всё о протонах, нейтронах и электронах лет с шести: папа подарил мне тонкую книжку

«Как устроен атом» — я любила ее. Другие детские книги: два тома (толстенький и не очень) сказок братьев Гримм (главная сказка — «Беляночка и Розочка» — на полях цветные вклейки: злой гном не может вытащить бороды из расщелины, розовый куст, медведь).

Непревзойденным идеалом женской красоты в детстве всегда оставалась Царь-девица из «Сказки о коньке-горбунке»: жест ее рук, защищающихся от догоняющего Ивана, круглые серьги в ушах, черные кудри, сходящиеся брови, тончайшая талия, шелковые черевички, но главное — порыв, упархивание. На другой картинке она сидела непреклонно перед старым царем, и уже была другая, более земная, непокоренная, но пойманная.

Сказки Андерсена в твердом матерчатом зеленом переплете с иллюстрациями Конашевича: недовязанная рубашка одиннадцатого брата Эльзы; жабы, прыгнувшие ей на грудь; сок грецкого ореха, от которого кожа Эльзы стала такой темной, что ее не узнал родной отец. «Соловей» казался таким же бесконечным, как гайдоровская «Голубая чашка», которую читал вслух папа. В «Соловье» была неприятная картинка: смерть с косою — скелет в черном плаще. Это почему-то не ассоциировалось с древним моим детским ужасом перед столбами с табличкой «Не влезай, убьет!» и белом черепом на черном фоне. Эти столбы пугали меня на Голубой даче, где мы с дедом Сергеем ходили вдоль линии высоковольтных передач на станцию Отдых, и дед пел песню собственного сочинения:

*Мы с Танюшкой вдвоем
Очень весело живем.
На Хрипаньку мы пойдем.*

Мама говорит, что с моим рождением дед ожил, а до него ходил как в воду опущенный, не зная, чем занять себя на пенсии.

Из ГДР папа привез прекрасного «Барона Мюнхгаузена», и лошадь, привязанная к кресту церкви, а потом гарцующая по столу, уставленному бокалами с вином, и отшатнувшиеся лица декольтированных дам (еще одна ступень в моем представлении о прекрасном в женщине), и турки, идущие с кривыми ножами за поспорившим с султаном бароном — эти картинки будут со мной всегда.

Когда я была в 4-м классе, Чапка еще раз родила щенят, и одного из них, Патрика, мы подарили маминему сотруднику. В ответ моя домашняя библиотека пополнилась любимейшей на все годы книгой, цитаты из которой выучили наизусть и мои дети, — «Три повести о Малыше и Карлсоне» Астрид Линдгрен. «Тане от Патрика», — было написано синей шариковой ручкой на титуле. Каждую простуду — вплоть до десятого класса — я не расставалась с ней:

— Насколько мне позволяют определить зубы, это не цыпленок, а курица.

— Но у курицы вообще нет зубов, — обиделась Фрекен Бок.

— Зато у меня они есть, — гордо сказал дядюшка Юлиус.

— Только не ночью, — уточнил Карлсон, и Малыш густо покраснел.

*

Вообще книги в доме были, но, за исключением перечисленных выше, других я почти не читала. По воскресеньям, забираясь к папе в кровать, я любила слушать, как он читает наизусть «По вечерам, над ресторанами...», или «Был у майора Деева товарищ майор Петров...», или «Вышел Петя на балкончик, жадно кушал пятый пончик. Слово дождик по трубе, льет варенье по губе...». Или поет «Вот умру я, умру, похоронят меня...», или «Тучи над городом встали...», или «Любимый город в синей

дымке тает...» (мне слышалось: то «в синий дым Китая», то «в синий дым китаец»; — а то, что этот глагол «китать» больше нигде не встречается, меня не очень смущало, ведь значение его легко понималось; к таким же ослышкам нужно добавить еще одну: меня мучил загадочный Бессиленон из окуджавской песни. «Но всё ж — Бессиленон!» пели Леонов, Папанов и Ургант в фильме «Белорусский вокзал», и я долго воспринимала это слово как таинственную клятву друзей).

Когда я выросла, папа с восторгом выучил не меньше половины «Евгения Онегина», которого полюбил декламировать вслух. Общаться с нами, детьми-подростками, было делом непростым. Папа не без иронии рассказывал потом нам про нас: в одной комнате брат Вовка смотрел хоккей и на приветственный вопрос пришедшего с работы папы: «Это Фетисов?» — кричал: «Как ты можешь путать Фетисова и Балдериса!». «Бедный» папа шел ко мне и спрашивал: «Что читаешь?», а я отвечала: «Папа, это про Пушкина, тебе не понять!..».

*

Когда я заболела, мне ставили горчичники, через два слоя газет, чтобы не так сильно жгло, и ритуал требовал просмотра диафильмов. Как же я любила их: самые старые, в коричневой гамме (про богатого и бедного брата; про девочку, которая по ошибке проглотила ложку горчицы, выскочила из-за стола, убежала из дома и заблудилась, — впечатленная сюжетом, я десятилетиями отказывалась от этой приправы и с опасеньем попробовала ее всего несколько дней назад). После бежево-коричневых диафильмов пришла эра цветных. Из них важнейшими были два: японская сказка о человеке, у которого от движений волшебного веера стал расти нос, да так, что проткнул на небе тучу, где сидел Бог, и за кончик носа беднягу некоторое время носили над землей, а второй — «Песнь о Гайавате»

Генри Лонгфелло в переводе Ивана Бунина. О том, что текст написан не по-русски, и что вообще существуют переводы и переводчики, а также и иллюстраторы книг, мне пришлось узнать гораздо позже, а пока я с упоением поглощала явления в их синкретизме, неразрывном единстве:

«Цапля сизая Шух-Шух-га» — разве это могло быть сказано не по-русски? Нет! Только так, только так!

Диафильм о Гайавате был с пластинкой, и когда требовалось поменять кадр, на пластинке раздавался специальный сигнальный писк.

После диафильма я просила папу читать мне Гайавату по книжке. Ритм бунинского белого стиха меня совершенно завораживал.

Папа читал мне и «Голубую чашку» Гайдара. Путешествие героя и его дочки мне казалось нескончаемым, и когда в «Вопросах литературы» начала 80-х годов я прочитала в статье Урнова слова «тёмная мистика прозы Гайдара», я подумала, что этот ужасный Урнов все-таки кое-что понимает в нашем деле.

«Тимура и его команду» мы читали вместе: и папа по моей просьбе, и я — когда была одна. Записка «Девочка, ничего не бойся. Я — Тимур» на долгие годы стала для меня образцом мужского письма.

Папа водил меня в Лужники на каток, где мы с ним за руку нарезали круг за кругом, а у моего носа мелькали не только изящные «фигурки», но и зловещие «ножи» и какие-то немислимые «гаги». Папа катал меня на лодке в Парке Культуры, уча грести и повторяя необыкновенное слово «табань». Папа ходил со мной в оперетту — любоваться, как я впивалась глазами в Светлану Гарбузову (Татьяну Шмыгу мы видели только по телевизору — билеты на лучших артистов достать было трудно). Папа приносил концертные записи Высоцкого — тот приезжал в папин институт ТЭП (Теплоэнергопроект), и я подпевала: «Но парус, порва-

ли парус. Каюсь! Каюсь! Каюсь!», бесконечно слушая магнитофонные записи на нашей черной «Соне».

*

От мамы приходило другое.

Первое воспоминание в жизни: Голубая дача. Я, увидав мамино платье, бегу от крыльца к калитке. Тропинку пересекают рыжие узловатые корни сосен, их приходится перепрыгивать (как же часто я разбивала коленки, спотыкаясь о них!). Над головой внезапно раздается шум вертолета, что наводит на меня, маленькую, панический ужас, и из-за этого я не просто бегу к маме, а спасаюсь от этой железной стрекозы. Всё быстрее мелькают черные горошины на моем красном вельветовом комбинезоне, и я не сусь что есть мочи к единственному существу, которое может меня защитить.

Другая картинка. Изумрудно-заливной луг. Это Дахновка на Днепре, мне пять лет. Мама говорит: «Закрой глаза и открой ладошку. Теперь открывай!». На моей ладони сидит салатового цвета крошечный живой лягушонок.

Когда мы идем вдоль желтого пшеничного поля, мама объясняет, что по чудесным голубым цветам цикория, мелькающим то здесь, то там, можно узнавать время: они открываются ровно в шесть утра.

Мы меряем температуру перед удалением аденоидов, градусник разбивается, и мама объясняет, что ртуть ядовита, но ее легко собрать, и длинные мамины ногти с маникюром вишневого цвета подкатывают один серебряный шарик к другому, они склеиваются и постепенно образуют переливающуюся каплю, которую мама легко подцепляет бумажкой.

Бабушка Ната наставляла меня дома: «Добейся, чтобы операцию делала сама заведующая!». И вот я, шестилетняя, уже в кресле, с привязанными к нему руками и ногами, говорю склонившейся надо мной огромной женщине-хирургу:

«Бабушка сказала, что операцию должна делать заведующая. Вы заведующая?» — «Заведующая!» — рывкает глыба в белом халате.

После операции мы сидим в коридоре на коричневой кожаной банкетке, и я ем мороженое, а просто глотать слюну почему-то нельзя. В награду за страдания мне покупают в аптеке настоящее сокровище — песочные часы в бежевом пластмассовом футляре. Я могла сколько угодно смотреть за стружкой песка и вдруг возникающей ямкой над самой воронкой.

По вечерам я часто просила маму нарисовать мне на засвеченной фотобумаге голубоватого оттенка или на гладком белоснежном ватмане бумажную красавицу. Мне ужасно нравилось смотреть, как запятая превращается в удивленную бровь, как одной линией (мама всегда рисовала черной чернильной ручкой) создаются плечо, предплечье, слегка изогнутый локоть, запястье и пять пальчиков, как без отрыва линия идет в подмышку, намечает грудь, подчеркивает талию, создав нужную округлость, дает жизнь ногам. Такое же ощущение магического действия, подлинного волшебства я испытывала, глядя на «настоящего» художника (сейчас мне кажется, что мама рисовала гораздо лучше его), развлекавшего детскую публику перед сеансом мультфильмов в несуществующем ныне кинотеатре «Баррикады», куда меня иногда водил папа. Художник не просто импровизировал, но создавал зверюшек и человечков, отталкиваясь от первоначальной каляки-маляки, нарисованной счастливцем-добровольцем из публики. Такое умение мне тогда казалось недостижимым. Однажды вместо художника выступал мастер силуэта. Легким движением ножниц, словно и не разрезающих бумагу, а диктующих ей волю каким-то другим способом, он мгновенно создавал похожие портреты. Я упростила папу заказать мой. Но вот незадача: когда он был готов, я не узнала себя. Нос с горбинкой сыграл злую шутку, и вместо моего, польского и тонкого, в профиле

появился грузный восточный. А этот мой силуэт больше походил на Расула Гамзатова.

Сидя за лакированным письменным столом под желтым пластиковым абажуром, мама дорисовывает последние кудряшки моей бумажной подружке. Потом кукла аккуратно вырезается, и я рисую для нее бумажную одежду — целые сундуки юбочек и платьев, туфельек и косынок и даже шляп. Иногда в этом созерцании явления бумажного человечка меня переполняли не самые лучшие страсти: если мама вдруг рисовала длинные трусики, которые закрывали верхнюю часть ног, или слишком уж нежные оборочки на них, я мгновенно закипала гневом. Не помню, чтобы хоть что-нибудь в детстве вызывало во мне такое сильное и такое неприятное чувство. Впрочем, гнев мгновенно проходил, как только мы с мамой забраковывали красавицу и рядом появлялась другая. В школе я уже рисовала бумажных кукол сама. Это было и летним деревенским развлечением, все новые бумажные наряды показывались маме во время ее воскресных приездов.

Мама была красавицей. Надо сказать, что я это не осознавала никогда. Просто я любила смотреть на нее, а еще больше любила дотрагиваться, точнее, испытывать ее прикосновения. Мама была, и, благодаря Богу, остается, моим лучшим лекарством. Лет с десяти я стала мучиться жесточайшими мигренями. Почти каждый месяц болезнь обязательно посещала меня, стоило только сильно замерзнуть, не поесть вовремя, не выспаться, сильно разволноваться или расплакаться. В эти часы не было средства действенней, чем мамины колени и руки. Она гладила лоб, виски, затылок, глаза закрывались сами собой, от ног, на которых лежала голова, шло тепло, и постепенно сон побеждал все мои недомогания. Просыпалась я ослабленная, но совершенно здоровая. После рождения детей мигрени постепенно ушли (здесь я не могу не вспомнить рассказ Кати Л.: у нее была самая толстая карта

в детской поликлинике, но после рождения сына она годами не обращалась ни к одному врачу — не было ни малейшего повода!).

Я любила мамины рассказы о первобытном человеке, о хвощах, папоротниках и динозаврах, о древних цивилизациях. Однажды она повела меня в Пушкинский музей на выставку сокровищ Тутанхамона. Я увидела настоящие саркофаги, мумии, золотых жуков-скарабеев. Прекрасное женственное лицо египетского владыки кажется мне и до сих пор самым нежным мужским лицом в мировом искусстве (если, конечно, не считать небольшого автопортрета молодого Рембрандта, буквально примагнитившего меня лет десять назад, в тот момент, когда я убежала из старой пинакотeki в Мюнхене. Торопясь, я стремительно, уже не поворачивая головы, пересекала анфиладу залов, и тут какая-то сила заставила меня обернуться, и взгляд упал на это ни с чем не сравнимое беззаботное лицо с таким же удивлением глядевшее на меня. Беспорядочные кудри, небрежно распахнутый воротник рубашки — кто это? — буквы дали ответ и не дали мне опомниться). А тогда я, семилетняя, бродила среди каменных статуэток Анубиса, Тота, изображений бога Ра и вдруг поняла, что я одна, мамы рядом нет, а вокруг загадочная улыбка Тутанхамона, золото и черно-серые изваяния. Я не испугалась, но ходила, оторопев, пока мама меня не нашла.

Помню, как однажды, гуляя по окрестностям деревни Драчёво, мы забрели с мамой в те места, где она жила девочкой в пионерском лагере и откуда ее забрали в конце июня 1941 года, чтобы увезти в эвакуацию. Я смотрела на зеленую воду, коричневые доски старых купален и не могла вообразить маму маленькой. Слово «купальни» мне ужасно нравилось и завораживало.

Во время войны, в эвакуации, мама сочинила повесть о девочке и фашистах, сохранила эту тетрадь и однажды

дала мне ее прочитать. И я потеряла ее! Не могу себе простить — не могу понять: как это вообще могло произойти! Наверное, унесла в школу показать друзьям, а потом отвлеклась и забыла о ней.

Но бывают же чудеса! Я читаю маме и папе эти страницы, и мама говорит: «Не потерялась! Нашлась! Цела!»

*

Из маминого детства у меня была книга «Приключения Карика и Вали», довольно неприятная: дети в кабинете профессора становятся крошечными и оказываются в страшном мире насекомых, превосходящих их размерами и силой. Перенести ужас их положения я совершенно не могла и книгу эту не любила.

Однажды во время какой-то длинной дороги из гостей, когда бесконечная череда высоких (относительно моего роста) ступеней метро и подземных переходов утомила меня, и мечты о волшебной палочке или, на худой конец, сандалиях Персея достигла апогея, мама рассказала мне историю о графе Синяя Борода, чьи жены одна за другой исчезали в старом замке, и другую, о вампире, который жил за городом в черном-черном доме. Известная карета, запряженная четверкой черных лошадей, везла героя-врача с завязанными глазами по таинственному вызову. Когда он переступал порог, повязку снимали. День за днем он бродил по комнатам в полном одиночестве, но не встречал ни одной живой души. В какой-то миг замечал, что цвет глаз старинного портрета, не сводящего с него взора в приемной зале, изменялся. На него смотрели то серые, то карие, то черные, то голубые глаза. Значит, обитатели дома находились в потайной комнате, за стеной портрета. Венчал рассказ поединок врача и вампира, и, несмотря на то, что добро в маминой истории побеждало зло, во мне поселился новый страх: я стала бояться вампиров. Особенно жутко мне бывало в те мгновения, когда, вернувшись из школы,

стояла под закрытой дверью в квартиру и ждала, когда бабушка откроет ее. На всякий случай я клала руки на шею, зная, что вампиры обычно вонзают свои клыки в жертву со спины.

Ужасно я переживала за маленькую маму, которой старшие девочки во дворе показали мальчишку на пятом этаже, каждое утро делавшего на балконе гимнастику, и сказали, что это ее будущий жених. Мама уверовала и не сводила с него глаз, волнуясь, что от неосторожных движений он может упасть и сорваться. А потом я переживала за маму-десятиклассницу, рыдающую над своим школьным платьем, потому что она вдруг заметила, что на юбке сзади стоит довольно большая и грубо приделанная заплатка — мама ходила и не подозревала о ней, и вдруг увидела. Сама я в институтские годы ужасно любила старый пестрый шерстяной свитер, локти которого протерлись, — я, не долго думая, связала на местах дыр яркие черные заплатки. А позже, уже работая в Переделкине, жалела приехавшего в музей Пастернака бедного нобелевского лауреата Шеймаса Хини, рукава пиджака которого были украшены аккуратными замшевыми заплатками (потом мне кто-то объяснил, что дело не в его бедности и скромности, а в том, что такие уютные вещи с заплатками на рукавах производит какая-то известная английская фирма).

Ложные и истинные представления о мире, момент прозрения героя, который вдруг понимает подлинную подоплеку событий, бросающую беспощадный свет на череду неувязок и превратно понятых фраз, — это особенно занимает меня и в реальной жизни, и в романах Набокова. Легко говорить это теперь, а вспомнить страшно, как же я мучилась в юности, оказавшись на месте заблуждающегося и прозревшего героя: мучилась внезапным молчанием Булика, моего лучшего друга. Эту историю стоит рассказать из-за ее абсолютно набоковской развязки. Я была увлечена одним молодым юристом N., но жда-

ла из армии своего одноклассника Мишку М., который уже год как служил на острове Итуруп (куда меня не пустили уехать к нему мудрые мои родители). Я уже написала Мишке двести писем, как вдруг появился Н. С ним-то мы и оказались на злосчастной выставке в Пушкинском музее, где внезапно столкнулись с Буликом, лучшим Мишкиным другом. Он едва кивнул мне и сразу ушел в другие залы. Свидание было испорчено, я едва дождалась первой возможности распрощаться с Н., и, не заходя домой, побрела к Булику оправдываться, хоть как-то объяснить и снять с себя обвинение в легкомысленной измене, на волоске от которой я на самом деле пребывала.

Дверь мне открыла Лиана Борисовна, мама Булика, и сразу предупредила меня: Булик лечится от заикания и по требованию врача наложил на себя десятидневный обет молчания. Я помню эту ласковую постепенность, с которой смывалась с меня волна тихого ужаса и приходила другая — понимание истинной причины, по которой Булик не заговорил со мной в музее, надежда, возможность оправдаться и быть оправданной.

Эти последние страницы я записала, сидя на поваленной сосне в чаще леса эстонской деревушки Кясму, едва не засыпая от внезапно сморившей меня усталости, как позже выяснилось, перед кратковременным (но мне его вполне хватило, чтобы промокнуть до нитки) дождем. Мне казалось, что и ритм фраз засыпал вместе со мной, и слова постепенно оставались одни, покинутые грамматикой, как рассыпавшиеся в траве бусины темно-красной земляники, мелькающие то здесь, то там вдоль тропинки. Это стало сегодняшним открытием для меня: ритм фраз непосредственно связан с тонусом моих мышц. Грамматика не в тонусе — ведро собранной земляники рассыпается в траву, но нужно собрать последние силы и одолеть сон, ибо я пришла в лес не для сна.

*

Как и большинство детей моего поколения, до школы я ходила и в ясли, и в детский сад. Ясли я не любила. Как рассказывает мама, кричала изо всех сил по утрам: «хочу пурэ», так как когда это самое «пюре» мне давали, это было знаком того, что я остаюсь дома, и в ясли меня не ведут. Сохранились фотографии: брат (он на 6 лет старше) и какая-то девочка увлеченно разговаривают, а я — зимний кулек, обреченный отставать всегда и всюду, потому даже полунаклоны почти невыносимы, — и не мечтаю их догнать. Косынка, тонкая шерстяная шапочка, поверх нее меховая, и; как лента снарядов у революционного матроса, поверх шубы крест накрест с узлом на спине повязан шарф. Рейтузы, валенки, калоши. Уф.

А детский сад — это была уже вполне сознательная жизнь. Из нее я помню кинематографический эпизод: перед завтраком я сообщаю Бельчу, что влюблена в Мишку Хомякова. Бельч дает клятву никому и никогда об этом не говорить. Мы рассаживаемся завтракать (сидим по четыре человека за столиком; манную кашу и запеканку я не ем, потому что всю жизнь помню картинку из книги польского карикатуриста Ленгрена: в цирке во время выступления силача внук оборачивается к бабушке и шепчет: «Если ты скажешь, что он каждый день ест манную кашу, я встану и сейчас же уйду!»). Какао, печенье — это еще ничего, жить можно. Вдруг, проглотив последний кусок и положив в карман про запас кусок черного хлеба, я замечаю, что все дети за столиками смотрят то на меня, то на Мишку Хомякова и о чем-то перешептываются.

Нашей дружбе с Бельчем его предательство совершенно не помешало. Я любила заходить к ней в гости. У Бельча дома было нечто такое, о чем я не могла и мечтать. На стене в ее комнате висела акварель (или гуашь?), изображающая ее рыжего плюшевого тигренка, который сидел на кровати под своим же портретом. Портрет игрушки!

Как живого человека! — Подарок художника, соседа по подъезду. Настоящее сокровище. Даже завидовать было совершенно бессмысленно. Спустя десять с лишним лет в том же доме я рассматривала другие акварели — у родителей моего случайного литературного знакомого Саши Немировского, уехавшего вскоре в Америку, на стенах висели работы Анатолия Зверева! А еще позже меня представили Наталье Шмельковой, умной и веселой подруге Зверева и Венички Ерофеева, автору интересных мемуаров, и хотя я никогда не бывала у нее, но знаю, что живет она в том же самом доме. Еще с одной обитательницей этого ничем с виду не приметного дома я подружилась лет десять назад и дружу до сих пор. Это переводчица Оля Кельберт, ученица Лотмана и Успенского. Когда Юрий Михайлович приезжал в Москву, он иногда останавливался у нее. Эх, жалко, поздно мы с Олей познакомились, и ЮрМих для меня — это только книги. Но и это дар. Помню, как читала в метро лотмановскую «Биографию» Пушкина и ничего не могла с собой поделаться, потому что Пушкин умер на «Университете», а рыдала я до «Юго-Западной».

Моей соседкой по спальне в детском саду (кровать стояли рядом попарно) была еще одна жительница белычевского дома, девочка редкой красоты Марина Табак-ман. Голубые глаза, черная густая коса, прямой нос и веснушки. Представляю себе, сколько хирургов и больных были прекрасными жертвами ее мраморного и бархатного одновременно взгляда, когда она выросла и стала работать операционной сестрой в 31-й больнице. А теперь, на пмж в своей Германии, помнит ли она мои странные, бесконечные рассказы, которые, укрывшись с головой одеялом, я шептала ей в затылок? Это были очень реалистические приключения девочки, которая жила в странном доме с балконом без перил (я потом увидела такие дома в начале 2000-х в медленно отстраивающейся

Польше). Когда девочка садилась на свой велосипед, зимующий на балконе, ничто не мешало ему свободно лететь над землей, туда, куда вела его моя фантазия.

На детских утренниках у меня никогда не получалось повторить в правильной последовательности долго репетируемые танцевальные па; во время исполнения музыкальных номеров меня спасало только то, что все пели хором — чаще всего слова я не помнила, мелодию врал. Ничего странного в том, что во время спектакля мне была поручена бессловесная роль теста, вылезающего из квашни, я не нахожу. Разве могло быть иначе? (Мама, бедная, рисовала эту квашню на большом листе ватмана коричневой и желтой красками).

В первом классе я не могла без пометки переписать в тетрадь даже недлинное упражнение. Поэтому и пятерки за чистописание не украшали моих тетрадей. Лишь однажды учительница Лидия Тимофеевна, похожая на певицу Людмилу Зыкину, с таким же «русским народным» пучком на голове, пожалела меня за трудолюбие: я переписала одно и то же упражнение, делая пометки всегда в новых местах, раз шесть, и в моей тетради появилась долгожданная пятерка. Помню, что чинно нести портфель в этот день я и не пыталась: восторг кружил меня в каком-то диком танговым вальсе всю дворовую дорожку к дому. Зато в тетрадках по арифметике был полный порядок, и на обложках красовались по четыре и по пять вырезанных из цветной бумаги звездочек (каждая из которых означала, что в тетради уже стоит пять пятерок).

На физкультуру мы переодевались прямо в классе, все быстро и ловко, кроме Олега Шумакова. Он совершенно не умел справляться с колготками и шнурками на ботинках. Помню, как в дверь класса заглядывают старшие ученики и дразнят нас женихом и невестой, потому что я заботливо втискиваю Олега в его одежду. Ну да, и фамилии, конечно, располагали: Нешумова и Шумаков. Папа Олега был океанологом. Дома у него (он до сих пор живет в со-

седнем подъезде) был предмет моей и по сей день не воплощенной мечты: настоящее деревянное кресло-качалка. Я знаю, что есть как минимум еще один человек на земле с таким же отношением к этому предмету мебели — это прекрасная художница Ася Флитман. Иллюстрируя в книге Геры Лукомникова «Мы букочки» его стихотворение

*Сегодня в школу не пойду,
И завтра в школу не пойду,
И послезавтра не пойду,
И никогда я не пойду!*

— Ася нарисовала добрую старушку с вязанием, укрытую клетчатым пледом и раскачивающуюся на деревянном кресле-качалке. Надо ли говорить, что этот рисунок и стал для меня символом «спокойной старости», как сказал Абдулла Верещагину в «Белом солнце пустыни»?

Олег знал про зверей абсолютно всё. Из его дома в моем — правда, всего на несколько часов, потому что очень быстро выяснялась моя органическая несовместимость с этими животными — появлялись то черепаха с раскрашенным акварельными красками панцирем, то белая мышь, не желающая жить в прекрасной трехлитровой банке и всё время почему-то забиравшаяся на занавеску под потолок, стоило мне только выйти из комнаты.

А кстати! Я поняла, почему: ведь ее соседи по квартире — моя собака Чапка, норной охотничьей породы, и кот Мурзик — не могли располагать к флегматичному созерцанию мира, но решительно требовали спастись.

Позавчера я разговаривала о том, как приятно сочинять мемуары, с Димой Веденяпиным. «Я умею всё, кроме, кажется, одного: не знаю, как жарят шашлык», — признался Дима накануне, в день пятилетия своего третьего сына, Дани. Я пришла помочь, и, пока угли разгорались, мы разговаривали. «А бывает у тебя, что ты что-то новое понимаешь о том, что было давно?», — спросил Дима. В ответ

я рассказала вот эту историю, о белых мышках. «Да, приятно бывает понять то, что произошло 40 лет назад», — вежливо отозвался Дима, который, полагаю, задавая свой вопрос, рассчитывал услышать в ответ нечто более значительное.

Олег не был первым мальчиком, признавшимся мне в любви (я помню, что он произнес эти слова, рисуя разложенную на ковре своей комнаты газету «В мире животных», которую мы делали вместе). Первое любовное письмо я получила в пять лет. Мама хранит его до сих пор. «ТАНА, ВЫГЛЯНИ В ОКОШКО», — писал печатными буквами четырехлетний мой сосед с 5 этажа Максим Б. Случайно встретившись у лифта, мы здороваемся до сих пор, но я думаю, что текста этой записки он не помнит. Максим — уже взрослым — выручил нас в начале 90-х годов. Илья Бернштейн, выполняя какую-то срочную ночную работу на первом нашем компьютере, не заметил, как лампа наклонилась слишком низко и накалила пластмассовый корпус экрана. Край поплыл, потерял форму. Ужас заключался в том, что компьютер не был собственностью, а предназначался для продажи на какой-то завод. (Вовка, мой второй муж, тогда написал бухгалтерскую программу для предприятий, которую его фирма продавала вместе с компьютерами). Единственным человеком, который взялся помочь беде, был Максим, мастер на все руки. Он смог наплавить пластмассовый край нужной формы, покрасить корпус экрана заново серым цветом, и компьютер ушел на завод, где никто ничего не заметил.

В пятом классе я получила самую загадочную любовную записку. Ее написал Вася Иванов, убитый случайной пулей в октябре 1993 года на мосту у Белого дома во время известных событий. Зачем он поехал туда? Не представляю. Но мотивы человека, кончившего Высшую школу КГБ, мне не могут быть ни известны, ни понятны. Сына он успел родить. Вот всё, что я знаю.

Васину записку просто так прочитать было нельзя. Лишь поднеся ее к стеклу окна, чтобы потоки света делали читаемыми линии на обеих сторонах листка, я смогла сложить половинки букв: написанные с одной стороны листа до середины буквы продолжались, оживая, на другой.

*

Моей любимой игрушкой в первые годы жизни был коричневый плюшевый медведь. Однажды после осеннего возвращения в город я не смогла найти его: он куда-то подевался, бесследно исчез. Видимо, эта потеря сильно огорчила меня, иначе как объяснить наш с мамой внеочередной поход в «Детский мир» — не в главный, на площади Дзержинского, а в маленький, на Ленинском проспекте. Я хотела, чтобы новый медведь был бы непременно коричневым. В магазине нас встретила армия серых мишек с белыми грудками, среди которых затесались два братца другого племени: коричнево-белых. Продащица протянула мне обоих — на выбор, и я заметила, что один из них идеальный, а другой — инвалид: нижняя лапа скроена и пришита кривовато, одна сторона головы чуть больше другой, поэтому мишка сидит, немного скрючившись и наклонившись вперед. Мне стало так его жаль: братца непременно кто-нибудь купит, а этому бедолаге зимовать на магазинной полке. Уговорить маму не стоило труда — она сразу меня поняла, и с нами домой отправился неправильный мишка, которого сразу было за что любить. С ним я прожила всё мое детство, он не потерялся, а в свое время просто уехал из Москвы в прекрасный деревенский дом на Оке, который мама с папой купили в конце 1980-х в деревне Ловцы Луховицкого района. В него даже успели поиграть моя племянница Светочка и моя дочка Маша. Неподалеку от Ловец располагалась церковь, где был крещен в детстве мой дед Сергей, папин папа. Не знаю

почему, мне нравится соединять не имеющие друг к другу никакого отношения мысли о последнем при-станище хромого мишки и церкви дедушкиного крещения.

Дедушка, по рассказам папы, был очень сдержанным, молчаливым человеком. Настолько молчаливым, что папа однажды потерпел фиаско: он задумал тайно записать на катушечный магнитофон, как разговаривает дед, придя с работы домой. Однако бобины крутились минут пятнадцать совершенно зря, дед только поздоровался и больше не сказал ни слова. Он был военным инженером, преподавал в военной Академии и даже написал учебник «Строительство мостов и понтонных переправ». Этим же был занят в войну и практически, возводя мосты и понтонные переправы и в Европе, и на Дальнем Востоке, и в 1946-м в Японии, из которой привез бабушке Люсе кимоно, веера и синий японский зонт (он сохранился и живет теперь на даче в Кратово). Две японские вазочки матового стекла с искривившимися стволами и узловатыми ветками сосен и флегматичными японцами всегда почему-то напоминают мне дедушкин рассказ о том, как его однажды накормили вкуснейшим мясом, оказавшемся, конечно, собачиной, котлетами из «прекрасного чау-чау».

На бабушке дед женился до войны, взяв ее за себя уже с ребенком от первого мужа, годовалым Витей Л., фамилию которого бабушка не стала менять, как и свою. Она носила фамилию и отчество моей прабабушки — Таисии Михайловны Акимовой, отсидевшей в Петропавловской крепости три года в одиночке за неудавшееся (предотвращенное) покушение на Николая II. Баба Люся — Елена Михайловна Акимова — через год родила папу, и дед кормил и растил двоих сыновей. После смерти бабы Люси, чтобы не оставлять деда одного в их однокомнатной квартире на Соколе, мама и папа забрали его

к нам. Как управлялась мама с нашим разросшимся к тому времени семейством, я не могу представить. Вовка женился, привел в дом сероглазую Зину, которая скоро родила Светочку. В другой комнате жили мы с бабой Натой, а в маминой и папиной был помещен дед. Ночью мама спала со мной, дед с папой на родительском двухспальном диване. Завтракали, обедали и ужинали в два или даже в три приема — все семейство за кухонным столом не помещалось. Так мы жили четыре с лишним года, с моих 18-ти до 22-х. А приемный дедушкин сын, профессор Виктор Л., ни разу за это время не навестил деда и даже не пришел на его похороны. Папа перестал с ним общаться. И когда он изредка все-таки звонит из Израиля (куда он уехал вслед за своим сыном, моим сводным двоюродным братом, окончившим ОСИПЛ и написавшим в 70-е учебник иврита), разговаривает с ним моя мама.

Не думаю, чтобы исчезновение дяди Вити в конце дедушкиной жизни было мотивировано памятью о какой-то дедушкиной черствости по отношению к пасынку, дед был справедлив, и дядя Витя не был каким-то злодеем, просто людям иногда свойственно немотивированное бесчувствие.

Немного о прабабке-революционерке. Папа рассказывал, что их было две сестры — дочери сибирского богача из бывших крепостных. Тот разбогател на торговле мехом, потом прогорел (в прямом смысле: конкуренты сожгли склад), но денег, чтобы дочки уехали учиться в Москву, хватило. Из двух сестер одна была красивой, а другая, моя прабабушка Тася, нет. Когда ее арестовали — 4 мая 1895 в доме Миганера на Старой площади, где она снимала комнату, — ей было всего 19 лет. Она влюбилась в террориста, планировавшего покушение на Николая во время его коронации в Москве. Заговор раскрылся, при аресте нашли взрывоопасный порошок. И вот — три

года одиночки в Петропавловской крепости. Писала письма (много писем) на волю — сестре. По ним видно, как из зеленой необразованной дурынды вырабатывается человек: просит прислать в крепость свежие номера «Русского богатства», «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина, «Голод» Гамсуна, самоучитель французского языка. В газетной заметке о прабабушке, хранящейся в нашей семье, объяснялось, что от сестры ее письма попали к племяннику Гончарова, а тот передал их Льву Николаевичу Толстому, который как раз работал над романом «Воскресение». Так что в Катюше Масловой должно быть что-то от Таси Акимовой. До толстовских музеев я пока не дошла, а вот в ГАРФе, в архиве департамента полиции, я увидела внушительную стопку карточек о ней: разные агентурные доносы и т. п. Среди прочего я прочитала перехваченное полицией письмо некоего господина о ней и ее друге Р.: «Относительно Р. злые языки рассказывают следующее. На одном студенческом собрании, во время последних беспорядков происходили дебаты на тему: «Что теперь делать?» Среди общего шума и гвалта влезает на стол длинная девица (*это как раз она, моя прабабушка!*), как водится, стриженная, в очках, в короткой юбке (*по тем временам — я полагаю — по щиколотку*) и с прочими атрибутами либерализма, и провозглашает: «Кто за терроризм?». Все смолкло. Рты удивленных слушателей превратились в букву «о» и глаза сделали попытку выкатиться на лоб. Насколько было длинно это молчание — неизвестно, но оно было прервано раздавшимся из угла словом, полным желчи и яда — «мерзавка». Длинная девица выказала нрав буйный, стала ругаться нещадно, упрекая публику в шпионстве, глупости и т. д., и обещала собрать новую сходку и повести молодое поколение по должному пути. Явившись на другой день в здание университета с двумя клеветками, она произнесла огненное слово в защиту терроризма и с триумфом была выдворена университетским сторожем на улицу (*какие*

милые патриархальные нравы!). Здесь является пробел истории. Несколько месяцев спустя мы находим вышеназванную девицу в заключении вместе с незаконным ее супругом Р.<...>. Слухи ходят, что дела их плохи и кончатся карой или Сахалином. Если правда, жалко парня, хороший был человек. Пиво пил просто страсть, а что касается женского пола — нет ему равного в свете. Ведь, собственно говоря, и предполагать было нельзя, что он впускается в такую историю».

В Петропавловке от соседа — Николая Баумана, с которым перестукивались, она узнавала стихи Надсона. После тюрьмы уехала в Юрьев и, окончив университет, получила диплом врача. Второй ее муж (тоже гражданский), мой прадед, — бундовец Мирон Борисович Вольфсон (встретились с ним, кажется, в том же Юрьеве) — после революции стал известным политэкономом, служил в «Советской энциклопедии» (вот откуда моя словарная кровь!), имел персональный автомобиль, который ехал за ним, когда он шел по улице. Официальные сведения о его жизни из пятитомного библиографического словаря «Деятели революционного движения в России: От предшественников декабристов до падения царизма» (М.: Изд-во Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1927—1934): «Примыкал в период февр. — окт. 1917 г. к левому крылу меньшевиков. Перед Октябрьской революцией был направлен в Гомель для проведения кампании выборов в Учредительное собрание. После Октября вышел из меньшевистской партии из-за разногласий по вопросу об отношении к советской власти, но в партию большевиков сразу не вступил. В 1918 г. отправился на Украину, где принимал боевое участие в революции (на Полтавщине). Работал в среде крестьянства. При Деникине сидел в Харькове в тюрьме на Холодной горе (арестантские роты) ок. 4 месяцев. Освободился из тюрьмы во время развала и бегства деникинских

войск. Прожил некоторое время в Харькове, затем уехал на Полтавщину. Вступил в 1920 г. в Коммунистическую партию. Участвовал в борьбе с махновщиной (7 столкновений), в формировании сил для борьбы с Врангелем, Петлюрой, поляками. Вел агитпропработу, редактировал газету «Вісти». Летом 1921 г. вызван ЦК РКП (б) в Москву для работы в Госиздате. Член правления и главный редактор ГИЗ'а, в последующее время член правления ОГИЗ'а. Зам. главн. редактора Малой Советской Энциклопедии, помощник главного редактора Большой Советской Энциклопедии. Профессор ряда ВУЗ'ов (I и II МГУ и т. д.) ... После Октября В. опубликован ряд работ: «Очерки обществоведения» (14 изданий), «Курс политэкономии» (4 издания), «СССР и капиталистический мир» (3 изд.), «Курс политграмоты» (3 части, 2 изд.), «Чему учит политэкономия», «Экономические формы СССР» (6 изд.), «Учебник исторического материализма», большое число статей в Большой, Малой, Технической энциклопедиях. В 1931 г. Совнарком РСФСР присвоил В. звание заслуженного деятеля науки. 22 мая 1932 г. в окрестностях Москвы В. был раздавлен поездом при переходе линии жел. дороги». Смерть эта, случившаяся на станции Отдых, думаю, вряд ли была случайной. Некролог в «Известиях» о подробностях, конечно, умалчивал. В РГАЛИ я читала Мироновы открытки: невероятно жизнелюбивый человек. На момент его гибели дочери — моей бабушке Люсе — было 26 лет. А прабабушка Тася уже несколько лет как уехала от них — в Якутию, где проработала врачом до старости, — думаю, что и уцелела благодаря такому удивительному выбору места службы. На старости лет она вернулась к дочери, жила в одной комнате с моим папой, и — вот какая странная вещь — не умела завести будильника. Какой уж там терроризм!.. Папа просил ее: «Бабушка, расскажи мне что-нибудь из Библии!» — «Что ты, что ты! Меня из партии исключат!».

*

Помню свои первые стихи, но не помню, когда, при каких обстоятельствах, я их сочинила.

*Иду-бреду я в детский сад,
А там мне неприятно:
Кричат, галдят, и я хочу
Уже идти обратно.*

Второе было более лирическое:

*Плывет кораблик
По синей реке,
По синей реке
Плывет вдалеке.*

*Качается он
По волнам речным.
Из красной трубы
Валит серенький дым.*

Эти дошкольные стихи сочинялись в тот период жизни, когда понятие авторства совершенно отсутствовало в моем сознании, и порою я была уверена, что «ветер по морю гуляет» сочинила тоже я, а не какой-то Пушкин.

Чудовищные стишки кропала я в 5 классе. Что-то патриотическое, ужасное, о Москве:

*Топот копыт лошадиных,
Пьяных извозчиков брань, –
Всё это сейчас сменили
Автобус и трамвай.*

(Интересно, откуда в моей бедной голове взялись пьяные извозчики? Видимо, я уже читала Горького, и когда мы в 5 классе ездили в Нижний Новгород, я привезла

домой в спичечном коробке рыжую щепку от «креста, которым придавило Цыганка» — крест валялся прямо во дворе перед домиком Алеши Пешкова).

Эти стихи — можно ли извинить 10-летнего автора? — я читала со сцены пионерского лагеря профсоюза энергетиков в поселке Аше́ под Лазаревским на Черном море, путевку в который три лета подряд доставал на своей работе мой папа. Поводом к публичному чтению собственных «стихов» было мое участие в конкурсе «А ну-ка, девочки!», который предполагал выявить в участницах разнообразные дарования: нужно было на глазах у зрителей приготовить салат, выкроить купальник, спеть песню, поиграть с залом, станцевать танец. Партнером был настоящий взрослый танцор, красивый загорелый мужчина, который потом навестил меня, во время приступа мигрени, случившегося в самое грустное в лагере время — пересменки, когда счастливики, отбывшие смену (21 день), возвращались домой — в Москву, Ригу, Ростов-на-Дону. А меня отправили на две смены, чтобы подлечить у моря мучившую меня аллергию. Только что возникшие дружбы рушились с отъездом, отчаянно хотелось домой, к маме, никакие прелести солнечных ванн и морских купаний (в море входили и выходили по свистку) не могли утешить меня. Слезы вызвали жесточайшую мигрень, и танцор пришел посидеть со мной. Чужой человек, в сущности, незнакомец, только создавал неловкость и нисколько не мог заменить мне маму. Туман головной боли плюс дикая стеснительность и тайный восторг оттого, что на краю моей кровати присел некто, о ком я потом смогу думать как о Зорро или о Железной маске, т. е. воображать картины странного и невозможного будущего (любимое мое в детстве занятие).

Конкурс «А ну-ка, девочки!» я выиграла. Приз, который мне вручили, я с возможной бережностью привезла в Москву. Это был внушительных размеров застекленный эстамп, в строгой красивой рамке и с белым паспорту. Представляю себе, что почувствовали родители, раз-

вязав ленточки и сняв обертывающие картину газеты, когда их взору предстала троица: Фридрих Энгельс в гостях у Карла и Женни Маркс. Надо ли говорить, что картина простояла у книжных полок не очень долго и вскоре куда-то подевалась.

К моим лагерным победам нужно добавить еще шахматную: чемпион лагеря среди девочек, я единственная на 100 человек умела ставить мат ладьей и ферзем, другие же претенденты вообще только и знали, как ходят шахматные фигуры. Немного помучившись, я вспомнила папину науку и одержала нетрудную победу.

*

Моя спортивная эволюция носила странный характер. В 4-м классе я гоняла с мальчишками в хоккей. В 5-м шла третьей на лыжне. Первым шел самый спортивный и маленький мальчик в нашем классе — Игорь Медников, ставший позже профессиональным футболистом. Никто никогда не обращался к нему по имени. Все звали его Гадоха. Вторым шел самый длинный и крупный — Сережа Рыбаков. Флегматичный блондин с затенным взрывным характером, он однажды крикнул нам с Чехом: «Это подлеcko!», когда в пылу азартных салочек мы со всей силы — совершенно нечаянно — заехали ему по лбу крылом железной вешалки в школьной раздевалке. Неправильное, измененное от страдания и растерянности, это слово «подлеcko» я не смогу забыть никогда. Ударить девочку в ответ ему не позволял кодекс чести, но и удержаться от слез, вызванных, видимо, совершенно непереносимой болью, он не мог. И в наших беспощадных глазах стал смешным, достойным презрения. Но другая половина сознания, где человечность не была побеждена детской зверьковой жестокостью, — вспыхнула во мне и запечатлела этот крик, превратившийся навеки в символ невинного страдания *другого* и моей собственной вины.

В 7-м классе после уроков мы бесконечно играли в баскетбол, правила которого объяснил нам Андрей Васильевич Корзыков, наш немолодой, поджарый учитель физкультуры. Всю жизнь я цитирую поговорку, с которой мы начинали под его руководством любой забег: «На старт, внимание, марш! Время на «отлично» уже вышло». К какому бы делу я потом ни приступала, эта фраза: «Время на «отлично» уже вышло» — зажигалась в голове, как красная лампочка.

В 7-м классе к нам пришел новичок, черноволосый мальчик с грубыми чертами лица и смуглой кожей. С младшим братом они обращались друг к другу «Шер», и эта кличка, точнее, уменьшительная производная — «Шерчик» заменила для нас его имя. Пишу «кличка», потому что французского никто в классе не знал, и значение этого слова было для нас темно. Шер слыл гением. А как иначе? С младшим братом они придумали какой-то опыт, который осуществили на орбите наши космонавты (отец Шерчика работал в Институте космических исследований). Как только сошел снег, Шер стал приглашать меня в тропарёвский лесок на бадминтонную площадку. Я играла неплохо, потому что этой игрой уже несколько лет был увлечен мой брат. Брат любил рассказывать, как на чемпионате Москвы диктор запнулся от неожиданности, объявляя команду победителя: первое место заняла дворовая команда «Лужайка», т.е. мой брат и его бадминтонные товарищи.

В старших классах лыжи, обязательные зимой, почему-то стали меня изводить. Я еле тащилась по лыжне и, сойдя с нее, едва могла переступить ногами в неудобных ботинках с железной подковкой на мыске. К концу школы я стала мечтать сжечь все лыжные фабрики Советского Союза. А вот коньки почему-то любила по-прежнему.

Постепенно дворовые игры и спортивные состязания были потеснены книгами: в 7 классе я сама записалась в Детскую республиканскую библиотеку на Октябрьской. Поездка на 62-м троллейбусе до библиотеки занимала

почти час, и я любила смотреть на заснеженный город сквозь растопленные теплыми пальцами глазки в заиндевших окнах троллейбуса. Во время обратной дороги стремительно темнело, зажигались уличные фонари и огни в домах, а у меня в сумке лежали то «Набережная Мойки, 12» Гессена, то «Все волновало нежный ум...» Басиной, — книги, которые потихоньку формировали в моем сознании образ Пушкина, который не то чтобы стал моим кумиром, но просто все другие люди как-то не шли с ним ни в какое сравнение.

Еще раньше, летом после пятого класса, я взяла в библиотеке пионерского лагеря Аше почитать «Евгения Онегина» и переписала в тоненькую двухкопеечную тетрадь всё предисловие Бонди, от доски до доски, просто для себя самой. Меня завораживало, что о литературном произведении в принципе возможен разговор. В школе мне пока ничего подобного слышать не доводилось. С тех пор я никогда предисловия Бонди не перечитывала и, признаюсь, боюсь перечитать. Да и зачем? Свою роль в моей жизни оно уже сыграло.

Еще одним подталкиванием в спину в сторону профессии были строчки о декабристах из поэмы Евтушенко «Братская ГЭС»:

*Они еще мальчишки были,
Из чубуков дымы клубили,
В мазурках вихрились легко.
Так жить бы им — сквозь поцелуи,
Сквозь переплеск бренчащей сбруи
И струи снега и «Клико»!
Но шпор заманчивые звоны
Не заглушали чьи — то стоны
В их опозоренной стране.
И гневно мальчишки мужали,
И по-мужски глаза сужали,
И шагу шарили во сне.*

Репродукции с портретами Пестеля, Рылеева, Каховского, Кюхельбекера, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина я попросила переснять в фотоателье и до сих пор храню эти старые, черно-белые фотографии — как знаки моего выбора, моей детской замороженности тем, что существует история, а в ней тираны и тираноборцы, подлецы и рыцари.

Несколько лет тому назад в моем от родителей доставшемся экземпляре поэмы «Братская ГЭС» рядом с этими строками (а не на титуле, как это обычно принято) появился автограф Евтушенко — петушиный, под стать автору: «Татьяне Нешумовой от самого шумного поэта 20 века». Вот как он появился.

В музей Пастернака приехал Шеймас Хини. Я заканчивала двухчасовую экскурсию для учительниц, группа спускалась со второго этажа по узкой крутой деревянной лестнице. Я, как обычно, замыкала шествие. А навстречу поднимался разодетый петухом, как это ему всегда было свойственно, Евтушенко, за которым несмело семенил скромный незаметный человек, похожий на провинциального учителя, в чем-то неброском, чуть ли не в пиджаке с заплатками на рукавах — нобелевский лауреат. (Друзья рассказывали мне, что когда он читал лекцию в Америке, студенты лезли в окна, чтобы попасть на нее). Послышались восклицания: «Ах, Евгений Александрович! Неужели это Вы? Какая удача!»

Евтушенке того и надо было. Ведь время поэтических стадионов давно закончилось, а привычка быть в центре внимания осталась. А тут еще друг Шеймас увидит, что поэта Евтушенко каждый русский человек в лицо знает и едва только в обморок от счастья не падает при встрече с ним. Поэтому воодушевившийся Евтушенко попросил учительниц подождать его возле крылечка на улице, потому что сразу он не может с ними начать общение — надо другу музей показать. Сказано — сделано. Счастливая толпа стоит и ждет.

Выходят поэты на крылечко. Евтушенко объявляет: «Я сейчас Вам прочитаю свое стихотворение, и мой заморский друг почитает». А читает стихи Евтушенко очень артистично и так, словно перед ним не 30 человек, а 3 тысячи. Т.е., я думаю, слышно было и у Чуковских. Звучал его старый стишок, где рефреном проходило «Да, да, да» и «Нет, нет, нет». На каждом «да» он обращался к конкретной даме, брал ее за руку, заглядывал в глаза. А стихи-то про любовь... Глаза у тетенок подернулись слезами восторга. А потом наступила очередь Шеймаса Хини. Он сказал, что, так как в России больше привыкли слушать рифмованные стихи, он такие и прочитает. Ну что ж, училки — воспитанный народ, надо человека уважить, стояли, слушали Хини, глаз не сводя с Евтушенко.

Тут я должна рассказать, что, зная об этом визите заранее, я взяла с собой единственную книгу Евтушенко, которая была в доме моих родителей: «Братскую ГЭС», ведь главку о декабристах я помнила с 13 лет. Я решила, что попрошу автограф — именно рядом с этими строками, и это будет честно по отношению к себе, тринадцатилетней. Он с удовольствием сочинил уже процитированную надпись и расписался. И у Хини мне тоже хотелось взять автограф. Но его книжка в переводах Кружкова тогда отсутствовала в моей библиотеке. Поэтому я, извиняясь, протянула ему ту же «Братскую ГЭС». Он в замешательстве повертел ее в руках, открыл на последней странице и малюсенькими буквами в нижнем углу написал свое имя. Эта страница теперь мне больше всего напоминает картину Карлсона «Портрет моего кролика». Помните такую? Маленькая закорючка в углу.

*

Удивительно нам повезло в 4 классе с учительницей рисования. Седая, коренастая Роза Александровна вела у нас еще и музыку. Помню урок, на котором она рассказывала нам о Пер-Гюнте и заводила пластинку Грига с удивительной увертюрой, песней Сольвейг, танцем троллей.

На переменах Роза Александровна выходила с гитарой в рекреацию, в углу которой ее кабинет соседствовал с кабинетом географии, и вокруг нее собирались доброхоты, которые в 1975 году, в разгар брежневской тухлой унылости, слышали от учительницы такие слова:

*За орденами в Душанбе –
Два капитана КГБ.*

Роза Александровна пела нам песню от имени летчика, принявшего решение погибнуть, но спасти город:

*Не пожелай ни дождика, ни снега,
А пожелай, чтоб было нам светло.*

С дикой переменной ритма песни в момент аварии:

*И словно пропали все звуки,
И странная, странная тишь.
Как будто не крылья, а руки,
Ты, вытянув в небо, летишь.*

Она же завела нам как-то маленькую пластинку Новеллы Матвеевой, и мы впервые услышали «Девушку из харчевни» и годами носили в сердце ее «след от гвоздя».

*Какой большой ветер
Напал на наш остров!
С домишек сдул крыши,
Как с молока – пену,*

*И если гвоздь к дому
Пригнать концом острым,
Без молотка, сразу,
Он сам войдет в стену.*

Слова, мелодия — и главное — голос дарились сразу всем нам. Роза Александровна была щедра.

Песенка о двух капитанах КГБ легко уживалась в ее мире с прославлением подвига Павки Корчагина: в своем пионерском детстве Роза Александровна ухаживала за больным Николаем Островским, о чем тоже охотно рассказывала на уроках. От нее же мы узнали, что растения говорят между собой. Затаив дыхание, мы слушали ее рассказ, как цветок «закричал», предупреждая другой о приближении человека, накануне сломавшего его стельку, — кричал молча, но ученые приборы зафиксировали это в виде протуберанца цветочной кардиограммы. И тот, другой, тоже кричал в ответ.

Она же прочитала нам «Маленького принца»:

«Пожалуйста, нарисуй мне барашка».

«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».

Приятельствовала Роза Александровна с Юлией Романовной Хайкиной, географичкой. Мне не дано было понять этой дружбы. Юлия Романовна была язвительна, не особенно выкладывалась на уроках. Географию я не любила и с трудом запоминала о неинтересных пассажах, муссонах (хотя в младшей школе мы с Чехом обожали разглядывать атласы моего брата или ее сестры с полезными ископаемыми. Завораживала сама возможность шифрованного языка: наполовину покрашенный кружок означал золото, и вкупе с недавно прочитанными «Пляшущими человечками» поражала возможность передавать содержание знаками, без помощи слов).

На уроке географии в 5 классе мне впервые довелось проявить если не гражданское мужество, то характер. Однажды после родительского собрания Юлия Романовна спросила нас: «Дети, разве вы чем-то недовольны в нашем общении? Вчера на родительском собрании были жалобы». Все сидели, опустив головы и не смея пошевелиться. И тут

я подняла руку и сказала: «Юлия Романовна, знаете, иногда Вы очень обидно для нас шутите». Она с изумлением посмотрела на меня. Никаких конфликтов — да и разговоров — между нами никогда не было, да и жалоба на родительском собрании уж точно поступила не от моего папы. Что заставило меня поднять руку? Мне вдруг припомнилось, как однажды в суровый зимний день бабушка заставила меня одеть поверх коричневого платья, под фартук, шерстяную кофту с коротким рукавом лимонного цвета. Бабушкины установления для меня были святы. Чучелом я, конечно, предстала изрядным, но кому какое дело? Мне велели, я оделась. К тому же не замерзла. Но Юлия Романовна по моему поводу на уроке как-то прошлась. И вот теперь эта полузабытая обида не позволила мне потупить глаза и отмолчаться, как это сделали все. Более того, я продолжила: «Я уверена, Юлия Романовна, что такого мнения придерживаются и другие мои одноклассники. Можно попросить поднять руку тех, кто согласен со мной?» «Пусть подымут» — согласилась Юлия Романовна.

О, эта минута, в течение которой в душах одиннадцатилетних мальчиков и девочек шла борьба. Одна за другой стали подыматься руки. Оказалось, что половина класса разделяла мое мнение. К чести Юлии Романовны, никаких последствий ни для кого эта история не имела, а высмеивать наши и в самом деле нелепые порою наряды она перестала.

К десятому классу мой идеологический ригоризм принял причудливые формы. Продолжая дружить с Шерчиком, я вдруг осознала, что его образ жизни — на скучных уроках он спал, положив голову на парту — не совместим — с чем бы вы думали? — со «званием комсомольца»! На комсомольском собрании я предложила исключить Шера из комсомола — никакими личными мотивами это безумная инициатива не объяснялась. Господи, что было в моей бедной голове в это время? Дело было серьезным. Мне даже позвонила мама Шера и вызвала к метро

прогуляться. Бедная! Как можно было найти слова, чтобы убедить осла, уверовавшего в комсомольские идеалы? На меня не действовали аргументы, что исключенного из комсомола не примут ни в один ВУЗ. Все было тщетно! (Хотела написать, что с такой же искренностью и убежденностью в своей правоте действовали обвинители и судьи по делу Pussy Riot, но В. поправил меня: нет, они лицемеры, никакой искренности в их действиях не было).

Выручила мудрость физика. Ему удалось как-то замять наше решение, отвлечь нас чем-то другим. И Шерчик преспокойно поступил в институт. К слову сказать — дружба наша длится по сей день.

*

Теперь я попробую рассказать о людях, под влиянием которых я приняла решение стать филологом.

Ближайшее родственное окружение не предполагало такого моего зигзага самоопределения: дедушка, папа и брат были инженерами-строителями. Папа, как и дедушка, написал учебник. Папин называется «Строительство атомных электростанций» — этому делу он отдал всю свою жизнь. Когда на Чернобыльской АЭС случилась авария, папу включили в состав правительственной комиссии, и он пробыл в зоне аварии целую неделю, пытаясь разобраться в причинах трагедии. Его циничные теннисные друзья, точнее, один из них, профессор МГУ, уникальный специалист по мерзлотоведению Николай Р., встретил папу таким четверостишием:

*Вы, герои Чернобыля,
Мы там не были, вы – были.
И терновый свой венец
Ты одень на свой конец.*

Стихи декламировались как бы шепотом во время родительских дружеских пирушек у нас дома.

Мама тоже была инженером, но не строителем, а химиком. Имела кучу зарегистрированных свидетельств об изобретениях и в 40 лет защитила диссертацию о безопасности газовых горелок и сварочных аппаратов. Она работала в институте с пламенным названием ВНИИ-автогенмаш, во дворе которого валялись казавшиеся в детстве мне настоящим сокровищем золотые и серебряные стружки, блестящие, острые (о края легко можно было порезаться), завитые в спиральки, сходящие на нет от широких краев.

Так что среди моих самых близких родственников гуманитариев не было, и маме пришлось, наверное, серьезно перетряхнуть связи, чтобы найти мне репетиторов.

Всех своих учителей литературы я прекрасно помню. В 4-м классе, всего один год, нам преподавала Людмила Ивановна Озолина, молодая, слегка полноватая, весело встряхивающая своими крупными русыми кудрями. Не забыть первого урока русского, на котором на доске расцвело дерево языковых семейств. Русский был всего лишь веточкой. Это завораживало. Время сделало так, что ее внешние черты наложились в моем сознании на образ очаровательной университетской преподавательницы древнегреческого языка Веры Васильевны Борисенко. На уроки к ней, испросив разрешения и легко его получив, мы ходили вместе с Шерчиком. Помню, как читали басню Эзопа про собаку, позавидовавшую своему отражению, потому что у той, в воде, кусок мяса был больше. Помню, как от Борисенко я впервые услышала: «С розовой пеной усталости у мягких губ...». А на другом уроке:

*Приращенье нужно ли в аористе
И какой залог «пепайдевкос».*

Борисенко была само очарование: природный лингвистический талант, заразительная любовь к предмету, от-

менное остроумие — к этим качествам в ней я через год или два присовокупила еще одно: она преподавала вместе, сразу вдвоем, а не по очереди, с гениальным Михаилом Викторовичем Пановым — предмет, который я ни за что бы не выбрала, если бы ориентировалась только на его название: методика преподавания русского языка. Эту науку я стала постигать только ради них.

В пятом и шестом классах русский и литературу у нас вела Валентина Григорьевна Смирнова. Помню удивительное чувство, которое возникало, как только она входила в класс: само солнце заглядывало в казенные стены, сияние и сверкание наполняли воздух. Однажды, уже в 7 или 8 классе, когда Валентина Григорьевна у нас уже не вела, она заглянула в дверь кабинета физики, что-то, видимо, желая быстро передать нашему учителю А.Ю. Волохову. Но тот обрадовался ей не меньше нашего, втащил ее, сопротивляющуюся, за руку в класс, и мы еще раз испытали это удивительное чувство — словно сквозь шторы пробивался мощный сноп лучей восходящего солнца. Какими же счастливицами были, думалось мне тогда, ее дочери, Таня, из параллельного класса, и Люба, на 3 года старше нас и ставшая — как с огромным трепетом и уважением говорилось всеми — «настоящим ученым историком».

Но вот капризы ли Мнемозины — или и в самом деле (подозреваю, что это было так): никаких деталей самих уроков. Никакого филологического следа она не оставила. Только это ощущение солнечной улыбки и еще один, довольно заурядный анекдот. В нашем классе учился мальчик с говорящей фамилией, Саша Боевой. В 7-м классе его любимым развлечением было завязывать пояс моего зимнего пальто с немислимой силой, талия становилась совершенно рюмочной — и мне, и ему это ужасно нравилось. Вообще, в этом возрасте на переменах на меня приходили смотреть из других классов: никакой пышности,

отличающей уже давно мою фигуру, не было, голова далеко откинута назад, спина изогнута, как траектория салютной ракеты, длиннющие ноги с нескладно торчащими коленками — кто-то находил это настолько интересным, что даже исподтишка фотографировал меня. Не помню как, однажды в столовой ко мне подошла десятиклассница и подарила мне мою же, сильно увеличенную, зернистую (снимок был сделан издалека) фотографию.

Но я отвлеклась. А анекдот такой. Однажды Валентине Григорьевне по домашнему телефону позвонила Сашина мама. В начале разговора нужно было представиться.

— Здравствуйте. Я — Боевая!

— Да? Я тоже! — немедленно парировала учительница.

И теперь настал час для рассказа о моей лучшей школьной учительнице по литературе. Об Ольге Евгеньевне Потаповой. Она вела у нас с 7-го по 9-й, три года, а потом я несколько лет ездила к ней домой, в Ясенево, — раз, а иногда и два в неделю. Автобус от Юго-Западной тащился долго, можно было продолжать мечтать или думать, а иногда и читать. Помню, как читала, уезжая от Ольги Евгеньевны, машинописные листочки со стихотворениями Ольги Седаковой, из ее сборника «Шиповник»:

*...если это не тот заповеданный сад,
где голодные дети у яблонь сидят
и надкушенный плод забывают...*

Этой машинописью поделились с Ольгой Евгеньевной жившие с ней в одном доме старички, учителя рисования, дававшие уроки Гоше, сыну Ольги Евгеньевны, и дружившие с Седаковой.

Мне хочется попробовать набросать портрет Ольги Евгеньевны. Сколько ей тогда было? Лет 28? Невысокая, стройная, но странной организации фигурка в коричневой замшевой, чуть расклевенной книзу юбке и в красной

блузке — тогда употребляли другое слово: «батник». Грудная кость, как у птицы, была поднята очень высоко, но тем женственной смотрелись совершенно покатые плечи и грудь, второй такой женской фигуры мне в жизни не встретилось. Кончик носа слегка раздвоен, голова часто поднята чуть кверху, каштановые прямые волосы небрежно раскинуты по плечам, глубоко посаженные глаза всегда накрашены: голубоватым или зеленоватым веки, черным ресницы. Когда Ольга Евгеньевна начинала говорить, действовал механизм самовоспламенения. Подбородок поднимался все выше и выше. Голос взлетал, звеня, как жаворонок, одно восклицательное предложение сменялось другим. Передняя прядь непослушных волос прилипала к щеке или даже губам, но Ольга Евгеньевна не замечала этого и заводилась все сильнее. (Взрослая моя голова к детскому образу любимой учительницы приставляет теперь ерофеевское: «Мне как феномену присущ самовозрастающий логос»).

Монологи ее были чистой импровизацией, ни в какие шпаргалки она никогда не глядела (а, нет, помню один случай — когда она цитировала «Лонжюмо» Вознесенского на обязательных в 80-м году уроках ленинианы. И Вознесенский, и «Синяя тетрадь» Казакевича слыли если не крамолой, то знаком смелой независимости вкуса).

Помню ее фигурку всегда в одной и той же позе: прислонившуюся спиной к доске и опирающуюся приподнятой ногой на нижнюю перекладину первой парты в среднем ряду. Такой она чаще всего застывала во время диктовок по русскому. Она была воплощением настоящей женственности. Помню ее, совсем изнеможенную и беспомощно прижавшуюся к приехавшему с работы мужу, в летней деревне: с маленькими сыновьями она одна умаивалась. И фигурка ее становилась совсем сникшей, как бы подтаявшей.

От Ольги Евгеньевны впервые я услышала Мандельштама, еще ничего не зная о нем. Она объясняла, что такое

метафора, и, помогая руками представить нам образ, читала нараспев:

*Приливы и отливы рук,
Однообразные движенья...*

В 10-м классе, когда Ольга Евгеньевна, родив своего второго сына, Дрюшечку, не работала уже у нас, я увезла от нее синего, «с предисловьем Дымшица», Мандельштама (не первое, а второе издание), села за подаренную мне бабушкой Люсей и дедом Сергеем печатную машинку и перепечатала всю книгу. Одно дело, когда ты читаешь стихи глазами, совсем другое, когда они проходят через твои пальцы. Что может заменить это тактильное проникновение, почти родство? Думаю — ничего. Поэтому мне немного жаль современных читателей, на службе у которых есть сканеры, принтеры и фотоаппараты. Такой степени приближения к поэзии не может заменить ничто.

Ольга Евгеньевна рассказывала, как ходила слушать чайные разговоры у Шкловских. Виктор Борисович и его почетные гости сидели за столом, пили чай с конфетами, пирожными и печеньем, а «во втором ряду» — на лавках и табуретках по периметру комнаты усаживались бедные студенты, которым чаю с конфетами не полагалось: их должна была удовлетворить духовная пища — разговоры великих. Помню, как я не могла сразу в это поверить и переспрашивала: неужели?

Ольга Евгеньевна играла на гитаре, пела, сочиняла стихи и сказки (когда одна из них с подписью «Мессир» появилась в нашей школьной стенгазете, мы были заморожены). Стихи она после долгих уговоров дала мне почитать. Тогда мне они нравились:

- *Что будешь пить? — Мартини и абсент.*
- *Официант, пожалуйста, два кофе!*

С нами, девятиклассниками, и десятиклассниками она ставила «Двенадцать» Блока. (Среди десятиклассников был сын известного артиста Димка Любшин, всегда имевший в запасе новый и невероятно смешной анекдот. После школы мы некоторое время общались с ним так: никаких тебе «Как поживаешь? Что делаешь?», а сразу — к делу: он рассказывал, а я слушала и хохотала).

На Таганку, осиротевшую без Высоцкого, я стала ходить несколькими месяцами позже нашей постановки, и только тогда смогла оценить зависимость наших «Двенадцати» от «Послушайте!» и «Павших и живых». На сцене почти в шахматном порядке стояли спиной зрительному залу 12 человек, одетые в черные водолазки и синие джинсы. Постепенно, произнося свою реплику (а текст «Двенадцати» перемежался стихами Блока и отрывками из статей — его и современников), актеры разворачивались один за другим к зрительному залу:

«Что это у меня за спиной? Венера Милосская? А что, ее можно кушать, или она способствуетращению волос? На что нам нужна эта каменная туша?»

*...Я всех забыл, кого любил,
Я сердце вьюгой закрутил...*

«Двенадцать» я помню наизусть с этого времени.

В конце спектакля от стены отделялась и шла к зрителю Маша Кузьмина, удивительная красавица из 10-го, с огромной русой косой. В руках она держала гитару и пела низким голосом цветаевское:

*Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту...*

Другие актеры шепотом подпевали ей, отставая на шаг, но тоже медленно подбираясь к краю сцены. Шел 1981 год! Нам было по 16—17 лет. Теперь я знаю слово,

которым можно обозначить не поддающуюся пересказу гамму чувств, которую испытывали мы тогда, и — со следами на глазах — я переживаю сейчас. Древние греки называли это катарсисом.

Надо ли говорить, что Блок надолго стал для меня кумиром?

Дома была голубая гуашь, и я попробовала нарисовать копию сомовского портрета на фанерной двери в нашей с бабушкой комнате. «Хорошо, Таня, ты нарисовала Пушкина», — похвалила меня бабушка, когда мой труд подошел к концу.

(Этот случай напомнил мне почему-то другой, из недавней моей переделкинской жизни. Я работала в музее Пастернака, и однажды меня навестили мои друзья: Инночка Ляховицкая и Илья Бернштейн с детьми — старшей Мириам и младшим, пятилетним тогда Матвеем. Несмотря на то, что Инна и Илья люди литературно искушенные, они попросили меня — для Мириам — рассказать историю Нобелевской премии и травли Пастернака и его смерти. Из музея мы побрели на Переделкинское кладбище, и когда дошли до белого лебедевского надгробия, пятилетний Мотя, глядя на контррельеф пастернаковского профиля, воскликнул: «Бедный Пушкин!»)

В десятом классе Ольгу Евгеньевну заменила знаменитая Гапа, Галина Петровна Лазаренко. Она была опытным профессионалом, высококлассным репетитором. Конспекты ее уроков выручали меня не один год, когда и мне пришлось отведать горький хлеб репетиторства. На одном из первых уроков она объяснила нам, что в человеке может преобладать культура устной речи, и тогда он прекрасно импровизирует, а его антипод — человек письменной речи — может говорить как по писаному, только если его речь и впрямь написана накануне. «Я — человек письменной культуры», — сразу призналась она, возможно,

учитывая, что сравниться в ораторском таланте с Ольгой Евгеньевной ей не по силам. Но мы — сравнивали!

Отношения с Гапой у меня, разумеется, не сложились. Выносить ее расчетливые, головные схемы — идеальные, впрочем, для сдачи экзаменов на филфак, я совершенно не могла, и ее голубоватые фарфоровые передние зубы, вылетающая из-за них во время споров с нами слюна — отталкивали и не способствовали сближению с этой неглупой и властной женщиной.

Помню, как на выпускных брат Шера, Санёк, в качестве обязательного выученного наизусть стихотворения Пушкина, в выборе которого ученикам предоставлялась полная свобода, стал читать:

*Пьяной горечью Фалерна
Чашу мне наполни, мальчик,
Так Постумия велела,
Председательница оргий...*

Гапа взбесилась, выгнала его с экзамена и заперла в кабинете литературы, всучив школьную хрестоматию и крича: «Учи «Румяный критик мой...»! Пока не выучишь, домой не пущу!»

Гапа тоже затеяла ставить спектакль — по Пушкину, Лермонтову и Тютчеву — «Дни поздней осени бранят обыкновенно...». Шер и Герус согласились участвовать. Шер играл Тютчева, Герус — Денисьеву — и на репетициях между ними вспыхнул настоящий роман.

Я же отказалась играть. И потому, что согласие мне казалось изменой Ольге Евгеньевне, и потому, что Гапа предлагала мне роль Тамары, а я, конечно, если уж согласилась бы все-таки участвовать, то только в роли Демона.

Совсем уж я нехорошо поступила, когда Гапа стала при студентах-практикантах напрашиваться на комплименты. Она только что закончила урок по «трилогии во-человечивания»; а я все 45 минут просидела, крепко сжав

челюсти — трудно было вынести, когда о Блоке, для меня тогда неземном, почти божестве, говорили фарфоровые Гапины зубы и впихивали живую жизнь и саму поэзию в четкие отработанные схемы. «Ну как, Таня, понравился тебе мой урок?» — Я замешкалась, собирая сумку (так как я сидела за последней партой, на переменку из класса я тоже выходила последней). Но врать я не стала. Набрала воздуха и сказала: «Галина Петровна! Вы же знаете, как я отношусь к Вашим урокам!»

Гапа побежала жаловаться физику, нашему классному руководителю. Не помню, дошло ли дело до извинений, или я упрямылась до конца.

Справедливости ради надо сказать, что не знавшие Ольги Евгеньевны ученики Гапу любили, и среди ее воспитанников мне известен, по крайней мере, один, который стал профессиональным филологом — это Кирилл Постоутенко.

Еще один незабываемый урок дал нам, заменяя заболевшую Ольгу Евгеньевну, легендарный Сэм: старейший учитель литературы в нашей школе, Самуил Григорьевич Мороз. Сам урок я не запомнила, только лицо Сэма: очень умные, проницательные глаза и изборожденное продольными морщинами лицо. Единственный урок литературы — но я помню этот урок, и помню, насколько важным, загадочным, сразу неисполнимым было для меня домашнее задание: Сэм попросил нас переписать в тетрадь совершенно загадочные слова, из которых составились два вопроса: кто такой Ганс Кюхельгартен и что такое Вьеварум? Этот единственный урок и эти вопросы — тоже подталкивали меня в спину: иди, иди в эту сторону, в сторону филологии.

В сети я нашла портрет Сэма в мемуарном рассказе незнакомому мне Ильи Рубинштейна, ученика нашей школы: «Сэм. Самуил Григорьевич Мороз. Не по-еврейски — высокий и широкоплечий, по-еврейски — сутулый, лысый, сливносообразный и тоскливоокий. Походочка — чаплинско-карандашная, с подволокой обеих ног. Голос не-

громкий. За спиной (та, что сутулая) — Сталинград, плен, побег, Берлин. И еще один плен, второй — сразу после войны, за плен первый. Сроком на десять лет. Наград и наградных планок никогда не носил. Лишь накануне девятого мая криво цеплял на лацкан «убитого» светло-коричневого пиджачка медальку-значок «25 лет Победе». Да, и еще — губы: верхняя — не по-еврейски нормальная, нижняя — по-еврейски вздутая и сильно оттянутая вниз». Сама я про Сэма знала, что он «был репрессирован». Что на работу в школу принять человека с таким «пятном» мог только наш удивительный директор Юрий Владимирович Завельский (в школе работал еще один бывший зэк: учитель истории Бек. Детская память — такая глупая вещь: я помню его скучным старичком с большими пожелтевшими от табака седыми усами и одну только фразу — ну почему так капризна память? — одну только фразу за целый год пятого класса: «И Спартак повел войска, которые, которые...» — и ничего, ничего больше!). Историю же Сэма в деталях я узнала недавно, в 2005 году, когда пришла в Музей Дома на Набережной. Семья Самуила Григорьевича в тридцатые жила там. После ареста отца (расстрелян) и матери (осуждена на 8 лет лагерей), младшие братья Сэма оказались в детдоме. В 1938-м был арестован он сам. От младшего брата Сэма несовершеннолетнего Володи, арестованного в детдоме (ему было 16! — случай, даже и для того времени редкий) остался удивительный дневник, письмо к Сталину, письмо к брату. Вот страничка из его дневника 1938 года: «...Подхалимство, ложь, клевета, склоки, сплетни и прочие дрязги процветают. А почему? Потому что народ — низок? Нет. Потому, что низка кучка негодяев, держащая власть в своих руках. Если бы человек, заснувший летаргическим сном лет 12 тому назад, проснулся, он был бы просто поражен переменами, произошедшими за это время. Старого руководства он не нашел бы. Он увидел бы в правительстве безусых глупцов, ничего не сделавших для победы революции, или пожилых негодяев,

продавших за собственное благополучие товарищей. Он не увидел бы «бывших» легендарных командиров Красной Армии, он не увидел бы строителей и организаторов революции, не увидел бы талантливых писателей, журналистов, инженеров, артистов, режиссеров, дипломатов, политических деятелей и т.д. Все новое: и люди, и отношения между ними и противоречия, и, наконец, сама страна. Все изменило свой прежний облик. Но к лучшему ли? Внешне, да. Существенно, нет. Подхалимов уважают, клеветников внешне бичуют, а действительно боятся, негодяи в моде. Тысячи людей несчастны. Тысячи людей озлоблены сильно, до жуткости. И это озлобление прорвется и огромною волною смоев всю эту грязь вон. Счастье восторжествует. Все это несколько абстрактно. Обрисую конкретнее действительность. Все, собственно, началось с 1934 г., с 1 декабря...»

Брату он писал: «Я напишу такое письмо в НКВД скоро, что меня упрячут в надежное место. Пусть, я буду рад этому!!! Они хотят, чтоб я отупел, чтоб я не мог бороться против зла, а следовательно, них, но фокус не пройдет. Господа из НКВД просчитались. Я буду бороться, кричать, звонить! Я буду везде говорить об их жестокости, прямом насилии! Я не боюсь их теперь! Долой страх! Да здравствует борьба!»

В 1939-м Володя Мороз погиб в тюрьме. Вот здесь о нем можно прочитать: <http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside/almanah-doc/129>.

Ничего этого, конечно, в школьное время я не знала. В 80-е годы, на поэтической студии «Луч» я видела и слушала странную девушку: Елену Мороз, дочку Сэма. Мне запомнилось, что она писала длинные метафизические вещи, какие-то английские поэмы. В 1993-м она кончила жизнь самоубийством. Сэму выпало пережить и эту боль (он умер в 1995-м). О Елене Мороз, кажется, никто не вспоминает теперь. Небольшая подборка ее стихов опубликована в 2010-м в сборнике про студию «Луч». Я пока еще не читала этой книги.

На сайте «Век перевода» есть страничка Сэма, его переводы из Гессе и Герды Мис, с характерным малосимпатичным предисловием Витковского, где тот называет Мороза своим учеником и пишет: «Моя роль в превращении Мороза в «поэта одной темы» сыграна и признана — уже и то хорошо». Бог ему судья.

В сети я нашла еще одну — чудесную — шутку Сэма, записанную его учеником: ««Это должен знать каждый образованный человек!» — проинструктировал меня А. Ю., вручая книгу «Теория относительности для миллионов». Книгу я прочитал в один присест и отнес ее Самуилу Григорьевичу Морозу, моему любимому учителю литературы, чтобы он тоже приобщился к культуре. Через неделю Самуил Григорьевич вернул мне книгу с безнадёжностью, сказав, что, наверное, ему надо «для миллиардов»».

С лучшим учеником Сэма, блистательным Герой Лукомниковым (он, старше меня на три года, был одноклассником старшей сестры Чеха, Шуни), я дружу по сей день. Подружились мы так: я отстояла трехчасовой хвост в Пушкинский и должна была уже попасть в музей, как вдруг увидела, что около милиционера, пропускающего очередь порциями, выхаживает Гера (карандашный шарж на Геру лежал у Шуни под стеклом на письменном столе, на уроках литературы нам то и дело говорили: «Разве Ваши сочинения могут сравниться с теми, которые пишет Герман Лукомников!!!»). Я позвала его: «Гера! Я могу купить Вам билет». Он удивился, поблагодарил.

В начале 90-х мы жили в одном подъезде. Гера тогда писал стихи под псевдонимом Бонифаций (потому что и в самом деле был похож на героя знаменитого мультика «Каникулы Бонифация»). У меня сохранился стишок об этом времени, когда никакие литературные связи я поддерживать не могла, потому что растила своего маленького сына Кириюшу.

*Жил-был Бонифаций на свете.
Стихи сочинял этот муж.
А рядом жил Шумчик на свете,
И был стихотворец к тому ж.
Взяв шляпу одною подмышкой,
Другую Кирюшу таща,
Шел Шумчик наш в гости припрыжкой,
Душою совсем отоцав...*

Однажды Гера отнес мои стихи в газету «Гуманитарный фонд», где работали его друзья. После «испытательного стенда» в «Юности», это была вторая моя публикация, после которой долгие годы — нигде и ничего. Я до сих пор храню подшивку «Гуманитарного фонда», с картой «поэтического звездного неба», где поэтов соединили линиями, как созвездия. От меня там протянута только одна палочка — к Юле Немировской. Мой друг Санюля долгие годы издевался: «Шумчик, вы же известный литератор, Ваше созвездие блещет на карте нашего поэтического неба».

Стихи Герочки мне ужасно нравились. Самым любимым было это:

*Подумал Митя: «Могут, неужели,
Синхронненько, в один и тот же миг
Подумать об одном и том же деле
Двое людей?» – подумал Фредерик.*

Я спрашивала у Геры, как он сам понимает свой стишок: одну и ту же мысль сразу подумали Митя и Фредерик, или Митя в процессе обдумывания этой мысли превратился во Фредерика? Автор ответил: «О втором варианте я и не подумал».

Однажды на одном семейном дне рождения мы, взрослые, задумали выяснить уровень информированности наших детей. Эксперимент проходил примерно так: в комнату к взрослым дети вызывались по одному. И отвечали на во-

просы: «Назови трех русских поэтов», «трех художников» и т.п. (помню, что среди вопросов был и такой: «кто лежит в Мавзолее?»). Кике и его двоюродной сестре Алине было тогда лет 10, Маше и ее троюродной сестре Мириам по семь с половиной. И вот, на вопрос о русских поэтах Кирилл и Мириам ответили совершенно одинаково. Каждый из них быстро выстреливал: Пушкин. Потом минутная повисала пауза, после которой вспоминался Лермонтов. А потом — еще чуть-чуть попытхев — они назвали... Бонифация. Герочка обожает эту историю. Да я и сама ее люблю.

Когда я диктовала 1 сентября пятиклашкам Герин стихок:

*Скорее, скорее хватай авторучку,
Скорее собачку вот тут нарисуй,
Под этой строкой расчудесную Жучку,
И в носик скорее ее поцелуй!*

— и просила оставить место после третьей строки, чтобы нарисовать собачку, их восторгу и удивлению не было конца. Это было настоящим счастьем!!!

О герочкиных чудесных стихах я однажды даже сделала доклад на конференции в Вильнюсском университете. Дело было так: в 2004-м году я начала заниматься полузабытым поэтом и переводчиком Дмитрием Сергеевичем Усовым, собирала по крупицам его наследие и пыталась склеить из архивных документов тогда еще разрозненный пазл его жизни (через семь лет он сложился в двухтомник объемом почти полторы тысячи страниц). Из стихов Усова следовало, что лучшим гимназическим его другом был Павлик Антокольский. Мне очень хотелось выяснить, осталось ли в архиве Антокольского упоминание о старом товарище. Случайно я узнала, что архив Антокольского хранится в библиотеке АН Литвы, в Вильнюсе. Но как туда попасть? Нужны же приглашение, виза. На «Рутении» я прочитала объявление, что Вильнюсский университет проводит

конференцию по теме чтения в литературе, и, не очень долго думая, написала заявку: «Тема чтения в стихотворениях Германа Лукомникова». Помню ночь перед докладом: надо было ведь его и в самом деле написать... Не знаю уж, можно ли было назвать мое выступление научным, но и в Вильнюсе Герочкины стихи расположили к себе аудиторию. А в архиве Антокольского нашелся карандашный рисунок Антокольского: портрет Усова на прогулке в Царицыно. Единственный знак их дружбы — с этой стороны.

Однажды Герочка принес мне тонкую красную книжечку стихов Анатолия Маковского. Это имя и сейчас говорит очень немногим. Этого человека я встречала иногда на университетской поэтической студии «Луч». Он подошел ко мне, худой, невысокого роста, непонятный взрослый и, размахивая руками, стал что-то говорить о моих стихах. Мне было 18 лет, мир вокруг плыл, и речи этого странного человека понимать я совсем не умела. Запомнила только, что ему очень нравились мои строчки: «Глаза сухие у меня, как будто трактор их ровнял». (Это была сущая правда: из-за несчастного нейродермита, в период обострения болезни мои глаза были именно такими: меня даже с уроков однажды отпустили, пожалев).

И вот прошло несколько лет, и Герочка стал читать мне стихи этого Анатолия Маковского:

*Серая, с глазами, кадровичка,
Ты меня от голода спасла.*

«Понимаешь, не с серыми глазами, а серая, с глазами!!!».

Анатолий Маковский писал ни на кого не похожие стихи, ошеломительные по смелости сравнения, по вольности воздуха, виртуозности как бы небрежных рифм. «Кажется, щупаешь аиста,/А уже — атеист».

Удивительное значение в моей жизни сыграла презентация его посмертно изданной книги «Чемодан». Она проис-

ходила осенью 2006 года в Зверевском центре современного искусства. Презентацию вел подготовивший книгу поэт Иван Ахметьев, человек, которого я тогда почти не знала. Это потом он напомнил, как в начале 90-х они с Толиком звонили мне (как-то раздобыв телефон) и хотели встретиться, увидеться. Но я, как настоящая английская леди, очень сухо отвечала: «Нет, это невозможно, мы не знакомы». А теперь — по стенам были развешаны огромные фотографии (кадры, снятые Кешей Нилиным) — голова Маковского, чуть откинута назад, как у Мандельштама на рисунке Митурича. Выступали хорошо помнившие его люди, и даже была показана домашняя видеозапись. На ней Толик читал стихи и разговаривал, занимаясь домашним хозяйством. Точнее, приготовлением еды. Еще точнее — он отмывал картофельные очистки, чтобы сварить их и поужинать. Его удивительная биография (мать-художница, у которой был роман с немецким офицером, увезла его из Киева в Германию во время войны, там он учился в хорошем немецком интернате, в конце войны, когда «все разбежались», он был подобран советскими войсками и стал сыном полка. Потом детский дом, военное музыкальное училище в Иркутске. Уже неюным приехал в Москву и закончил мехмат МГУ, где с ним познакомились более молодые Евгений Сабуров и Леонид Иоффе. Затем оказался в Новосибирске, куда привез Хармса, Вагинова, Введенского, московскую новую поэзию — и стал проводником культуры для целого круга молодых новосибирских друзей. А потом — киевская квартира матери, доставшаяся в наследство, из-за которой Толик и исчез бесследно в 1995 году); его небывалые стихи; его странная величая свобода человека, ни с чем не связанного прочнее, чем со словами. И все встало на свои места. Человек, которого я так смутно помнила, полностью вернулся ко мне.

На следующий день после презентации меня стал преследовать невероятный, иррациональный вопрос: может ли быть, чтобы дух Мандельштама спустя полвека вселился в поэта-бомжа? Я сама понимала всю дикость этого немого

вопроса, но ничего не могла с собой поделаться: чувство возникло помимо моей воли и не собиралось уходить, пока я не найду нужных для его выражения слов. Я очень хорошо помню, как слова стали приходить в метро. Как всю дорогу в автобусе меня трясло от них, как выйдя на остановке, я никуда дальше не пошла — не могла идти — а села под навесом на лавке и записывала строчки, которые никак не могу назвать сочиненными: я была только проводником, только механизмом для уловления смыслов и их преобразования в человеческую речь. Ни одно мое стихотворение за всю жизнь не оказало на меня такого — буквально физического — действия. Станным образом, итоговый текст «Памяти Анатолия Маковского» сейчас мне почти совсем не нравится, и теперь я дорожу им больше как знаком странного опыта, выпавшего на мою долю, нежели «художественным произведением».

*Человек возвращается в дом, где он жил.
В дом сердец, где он жил.
В дом сердец, где он жил и живет.
И в заботливой мгле
Человеческих жил
Оживает, не стынет, живет.*

*И живущий вот тут же,
как в завтра-вчера,
претворяется в соль и судьбу,
претворяется в сад,
претворяется в лад,
претворяется в суть своих букв.*

*Так ходил по земле мандельштам, мандельштам,
и в посадке его головы
говорили слова, говорила трава,
говорили небесные львы.*

*Гогольком по земле, босиком по земле,
сущий белый андрей мандельштам
мандельштам мандельштам так ходил по земле,
по холмам, как по нашим губам.*

*Так неузнанный бог оставляет обол,
оставляет и дальше идет,
потому что не волк он по сути, а боль,
и его тот, кто хочет, убьет.*

*

Математику у нас преподавали исключительно колоритные типы. В 5—6-ом Татьяна Сергеевна Цангина. Ужасно добрая, но эксцентричная, она любила на нас покричать. В памяти остались два ее батника — бежевый и голубой — в одинаковых цветочках, сменяющие друг друга, и ее неизменная фраза-крик в начале урока: «Горячев, надень очки!». Сережка Горячев стеснялся носить их, но окулист велел, и Татьяна Сергеевна заботилась. После школы Сережка погиб одним из первых: прыщавый, долговязый, некрасивый, он связался с какой-то бандитской бандой и был убит! Его нет уже четверть века, а этот окрик: «Горячев, надень очки!» — всё еще звучит во мне, подтверждая банальную истину: слова живее людей, век их дольше нашего.

На смену Татьяне Сергеевне пришла Раиса Ивановна, женщина-крокодил: одетая в неизменное платье из зеленого крепдешина (который уже к тому времени давно вышел из моды) крашенная блондинка, казавшаяся мне старухой в свои 46—50. Она очень странно разговаривала, редко снисходя до использования обязательных грамматических связей между словами, часто повторяя свое любимое «тэк», не стесняясь паузами. Ее перлы мы запоминали и превращали в анекдоты: «Тэк... Я... не слушаю вас... Я... суббота!»

Математика шла у меня легко, на контрольных я решила два варианта и успевала написать подсказки половине класса, пятерки никуда не девались, а дерзости

с годами накапливалось. Однажды во время урока я вязала под партой, и клубок выкатился на середину класса. «Тэээк!» — только и сказала добродушная Раиса Ивановна, и я с извинениями под плохо сдерживаемые смешки одноклассников не спеша отправилась за ним.

Откуда-то я знала, что у Раисы Ивановны есть сын, что он служит в «горячей точке», т. е. в Афганистане, и что главные ее думы — там.

Раисе Ивановне нельзя было отказать в пронизательности: подводя итоги года и комментируя оценки, она сравнивала наши с Шером пятерки. «Вот у тебя, Нешумова... тэк... нет изюминки, а у Р. она есть». Слышать это было несколько не обидно, потому что так оно и было, недаром в 10-м я уже сама сдувала ответы из тетради важной и серьезной Аллы Соколовой, а Шер стал заниматься историей математики, от него я впервые услышала о Пригожине, а спустя годы он преподавал философию математики в Сорбонне.

Удивительную красоту этой науки открыл для нас наш последний математик Михаил Борисович Муравин. Когда он объяснял новый материал, доказывая нам теоремы или показывая решение трудной задачи, покрывая мелом всю доску, постепенно и стремительно разворачивая перед нами гармонию математического мышления, я — не скажу, что прямо тут же, на уроке, — преисполнялась восторгом, но покорялась ей, всё понимая и медленно впитывая красоту человеческой логики.

Потом, когда Михбор стал директором школы в Ясенево, я учила в ней русскому его сына. И как-то похвасталась, что не бросаю математику и решаю задачки по математической логике. Михбор искренне удивился: «Зачем тебе это?» — А мне нравилось. К тому же тогда для меня это был еще и язык любви.

Михбор был «самым крутым» в нашей школе. Он профессионально нагонял страх и ужас на хулиганов или просто расшалившихся бездельников. Полный, молодой, лысеющий, однако с развивающимися кудрями, в очках с силь-

нейшими линзами, за которыми мы не всегда от ужаса могли разглядеть смеющиеся глаза, он орал — великолепно и смертельно прикладывая расходившихся точной шуткой, и был «как Божия гроза» — иначе не сказать.

Ему под стать был наш физик, Александр Юльевич Волохов, тоже мастер крика и ужаса. В 7-ом классе перед его уроками ладони у меня покрывались ледяным потом.

Представился он нам гениально:

— Меня зовут Александр, но не Македонский. Мой папа Юлий, но не Цезарь.

Если кто-то, не усвоив, называл его «Юрьевич», он предлагал: «Зови меня просто Федя».

То ли о нем, то ли о Михборе ходила легенда, что однажды кто-то из них запустил в провинившегося связкой ключей от десяти кабинетов, и тот остался жив только потому, что сумел увернуться. Крики — да и вообще — речи А. Ю. меня всегда гипнотизировали: он читал нам морали. Говорил о том, что такое хорошо и что такое плохо, о том, как ужасны мы и каким должен быть положительный прекрасный человек, цитировал Маяковского:

*Любить – это с простынь,
бессонницей рваных,
срыватьсь, ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Ивановны,
считая своим соперником.*

Я смотрела на него, как кролик на удава, и навсегда усваивала преподносимые истины. Но более устойчивые мои одноклассники, когда физик входил в класс мрачным на первых уроках, язвили: «Ну вот, жена не дожарила ему яичницу, а нам терпеть». И физик начинал: «Ваши папашки и мамашки...»

Одно время весной, после встречи с выпускниками, его кабинет был украшен ослепительной растяжкой, натянутой

поверх портретов Фарадея, Эйнштейна, Ньютона, Ома: на белом фоне горели красные буквы: «Дядя Физик всегда прав!».

«Вы можете быть в 10, в 100 раз умнее меня, но старше меня вам не стать, поэтому извольте слушать!» Три года отслуживши на Сахалине, куда он распределился по собственному желанию, из-за чеховского «Острова Сахалина» (Чехов был кумиром, но об этом как-то не говорилось), физик знал жизнь и людей и мог учить. И учил. После школы я принесла ему свои стихи, и он выделил строчку: «Каких сомнений стану ученица». Меня он любил и до сих пор вспоминает один наш с ним разговор: «Таня, кто самая красивая девочка в нашем классе?» — «Я!» — «А кто самый красивый мальчик?» — «Тоже я!»

Мы с Чехом как-то рассказали ему о том, как дурачимся на улицах, говоря встреченным прохожим: «Ты мне на завтрак! Ты мне на обед! Ты мне на ужин!». «Возьмите меня с собой!» — попросил А. Ю., и к каждой такой нашей фразе гениально добавлял свою, участливо заглядывая в глаза жертве: «А я учитель физики!». Люди отшатывались от нашей безумной троицы, как от чумных.

Вообще абсурд витал в воздухе, и если бы Хармса не было, его надо было бы придумать. Машинописные листочки «Голубой тетради №10» появились у нас в десятом — от старшей сестры Тани Ставицкой, Става, моей прекрасной подружки конца школы. На ковре в комнате Става висел немаленький плакат с фразой из «Мертвых душ»: «ХОЧУ ПАРАПАН!» (Если кто не помнит, так прошептал Алкид, сын Манилова, на вопрос Чичикова: «Хочешь барабан, дитя?»).

Став лепил из пластилина прекрасных жирафов — потому что пылающие жирафы Сальвадора Дали стали на миг для нас негласным знаком художественного безумия. Пластиковые фигурки раскрашивались оранжевой и черной гуашью, покрывались лаком и дарились лучшим

друзьям. Они были у меня, у Геруса, у Шера, у Булика и у Мишки М. О своем отце, который годами работал за границей, Став говорил: «Мой папа — резидент!». Однажды Став угостил меня диковинным фруктом — папайей. В Москве начала 80-х неведомым. Оранжевая дыня с серой, как бы пародийной, икрой внутри оказалась необыкновенно вкусна. Через день выяснилось, что Став забрался не в ту коробку, и папайя предназначалась другим людям.

Я, кажется, нигде не объяснила, что в школьные годы мы, разговаривая друг с другом, решили отказаться от женских окончаний: Шум, Став, Бельч, Чех, Смаг — о каждой из нас естественнее было сказать «пришел», а не «пришла», и эта домашняя норма живет со мной до сих пор.

Имя Хармса я впервые услышала в кинотеатре, когда мой ровесник, тогда, как и я, 11-летний Миша Ефремов (в фильме «Когда я стану великаном» он играл веселого коротышку-поэта Петю Копейкина) читал с экрана, заразительно переставляя слова:

*Иван Топорышкин пошел на охоту,
С ним пудель пошел, перепрыгнув забор.
Иван, как бревно, провалился в болото,
А пудель в реке утонул, как топор...*

«Вы любите Хармса?» — спрашивал он у своей избранницы, стоя на балконе. «Хармса?» — переспрашивала она.

Стихи меня покорили, имя я запомнила, потом разыскала в библиотечном «Дне поэзии 1965» два стихотворения Хармса, сразу полюбив их и запомнив наизусть:

*На лице твоём, подруга,
два точильщика-жука
Начертили сто два круга,
цифру семь и букву Ка.*

и

*Выходит Мария, отвесив поклон,
Мария выходит с тоской на крыльцо...*

В 82-м появилась подготовленная Владимиром Глоцером пластинка «Из дома вышел человек», ее я слушала бесконечно, обожала цитировать «Во-первых и во-вторых», подражая интонациям Юрского. Для меня Глоцер всегда останется открывателем обериутов. Открывателем, а не закрывателем — т. е. весь сюжет с Введенским не перевешивает для меня того, что Глоцер сделал.

Глоцера я видела только дважды. Он был похож на Шатобриана. Один раз я встретила его в магазине «Фаланстер» и сразу вспомнила одно место в замечательном описании Парижа первой трети 19 века у очеркиста 40-х годов Владимира Строева. Тот писал, как однажды на бульваре в закутанном в темный плащ незнакомце с развивающимися седыми волосами он узнал знаменитого автора «Гения христианства» и долго без всякой цели шел за ним по улицам. Глоцер и запомнился мне одетым в крылатку, с белым шарфом и франтовски завязанным бантом под шеей, с седыми кудрями по плечам. Мне очень хотелось в ту минуту в «Фаланстере» стать вторым Строевым и молчаливо устремиться за Глоцером или хотя бы постоять возле него подольше, но пришлось, конечно, перебороть себя. Второй раз на деловую встречу с ним — подарить книгу Сергея Чудакова и обсудить издание Сатуновского — собирался поехать Ваня. Мы с Ваней тогда еще совсем недавно жили вместе, и привычки брать меня с собой на деловые свидания у него не было. Более того, я впервые должна была остаться без него в его квартире. Почему-то мне это было ужасно неуютно (я и сейчас не очень люблю оставаться в ней одна, привыкнув, что мы всегда тут вдвоем). Я попросилась, но Ваня сначала не хотел меня брать.

Я смиренно уселась за свой столик и стала смотреть в окно, изо всех сил стараясь не зареветь. И тут что-то сработало — спина проговорилась — и Ваня вдруг меня пожалел: «Ну, пошли». И вот этой жалости я обязана тем, что единственный раз в своей жизни говорила с Владимиром Иосифовичем. Дома он нас принять не мог (Ваня предупреждал, что так и может произойти. Сам он, общаясь с Глоцером, был у него дома только однажды) и попросил ждать его во дворе. Была осень. Дул пронзительный ветер. И на этом ветру мы долго просидели втроем за дворовым столом на лавочке, поеживались от холода, и около часа проговорили о Черубине де Габриак (я как раз написала о ней статью «Невидимый трилистник», а Глоцер, в юности работая секретарем Маршака, ревниво считал себя главным реоткрывателем Черубины. О том, как сложно с ним иметь дело, меня предупреждала Лена Калло, но у меня было не «дело», а любовь к Черубине — может быть, это и отменило трудности), о словаре «Русские писатели» (где мы оба подвизались авторами), об Усове (книгу которого я тогда и не планировала так быстро закончить), об учениках Глоцера и кое о чем еще, около часа. Ваня больше молчал, а говорил Глоцер — и немножко я. В. И. извинялся, что нет никакой возможности нас пригласить к себе — прозвучала какая-то невероятная цифра — 600? — которую составило число коробок с его архивом, ставших главными обитателями его жилья.

Последнее, что я читала из написанного им, была прискорбная рецензия на книгу о Хармсе в ЖЗЛ. Я огорчилась и из-за неприличной выходки в его адрес, допущенной в книге, и из-за того, как он отделал книгу в своей статье.

«У поэтов есть такой обычай...»

Еще одним моим приближением к Хармсу стал спектакль театра Эрмитаж «Хармс! Чармс! Шардам! Или школа клоунов» с гениальной Любовью Полищук. Этот спектакль,

на который меня повел Став, мы смотрели не меньше пяти раз. Весь зал буквально стонал от хохота во время некоторых сцен. «А по социальному происхождению я хрюнцуз!» — «Мама, я женюсь!» — «Какое такое «же»? — «У меня женитьба!» — «Какое такое «ба»?» Не смеяться этому, казалось, было невозможно. Однако родители наши к Хармсу оставались глухи, и во время одного представления меня поразил человек, какой-то военный средних лет, который сидел, словно проглотив аршин, и ни разу за весь спектакль даже не улыбнулся.

Долгое время мы считали хармсовскими литературные анекдоты Владимира Пятницкого и сестер Доброхотовых-Майковых. «Лев Толстой очень любил детей. А взрослых не любил, особенно Герцена», «И костыль задрожал в его судорожной руке», «Бог даст, революция будет, и я так поскачу!», «Ничего не сказал, только руку пожал и в глаза поглядел со значением...». Эти шедевры я перепечатывала и дарила всем друзьям в 10 классе и не могла, конечно, тогда представить, что это не Хармс, и что десятилетиями позже я познакомлюсь с Таней и Наташей Доброхотовыми-Майковыми, буду рассматривать в их рукотворном доме, где каждый сантиметр с любовью оформлен их руками, папки со страшной, болезненно-гротескной графикой Владимира Пятницкого, а со стен на меня будут смотреть сказочные персонажи его картин. Имена Кари Унковой, Гарика Суперфина и Коли Котрелева будут пересыпать их хрустальные речи, сверкающие затаенным светом ироничных жемчужин.

(Стоило только начать набирать этот абзац на компьютере, как от сестер пришло письмо. Я уже не удивляюсь таким вещам, а просто фиксирую их. Написала главку о Юле Немировской, и в тот же день получила от нее письмо. Написала о передачах радиостанции «Свобода» — и на другой день узнала о назначении Гессен и увольнении старой редакции).

*

В пятом классе со мною за парту (последнюю в среднем ряду) посадили новенькую. Она была маленького роста и ходила на каблуках. Она очень быстро подружилась не только со мной, но и со всеми девочками и мальчишками в классе. Мой драгоценный Смаг (Лена Смагина), любимая моя подруга, которой я и сейчас могу рассказать «всё», кажется, не подозревает, какую огромную роль она сыграла в моей жизни. В этом секрете я признаюсь прямо сейчас. Сразу скажу, что это довольно нелепое откровение. Дело в том, что у Смага был идеальный почерк, аккуратнейшие тетрадки. Глядя на ее ровные, с правильным наклоном буквы, мне ужасно захотелось научиться красиво писать. Когда нас сажали за одну парту, мой почерк сам собой выравнивался, в моих тетрадях тоже каким-то образом возникал порядок. А дома — уже просто так, чтобы продолжать опыты каллиграфии, я открывала тетрадку и старалась, чтобы черные и синие буквы в стихах красиво заполняли белые разлинованные листы. Иначе говоря, мое тогдашнее стихописание получило от Смага новый — совершенно неожиданный — импульс. Листок с записанным стихотворением, где строфы разделены пробелами, где большие белые поля слева и справа — это ведь и просто красивая вещь, красивый объект. И вот, мне, как Акакию Акакиевичу или князю Мышкину, стало просто нравится выводить буквы, а не просто бубнить под нос, вышагивая по дворовым дорожкам. Это потом, лет в 19, мы с Герусом и Шером прочитали у Фрейда, что пачкать белый лист черными буквами — это «символ кала», и ужасно потешались над этим. Но ведь и в самом деле, в пятом классе я писала «стихи», потому что мне нравилось покрывать лист симметричными строчками.

В седьмом классе мы с Викой В. (теперь она уже много лет разводит персидских котов, для которых в соседнем

подъезде завела отдельную однокомнатную квартиру) показали наши вирши Ольге Евгеньевне. Она довольно тактично попыталась нам объяснить, что в стихах должен быть хотя бы интересный образ...

В восьмом классе, благодаря тому, что во время школьной поездки в Ленинград срифмовала какую-то ерунду на глазах у одноклассников, я приобрела нового друга — Машу Герус. Она училась в параллельном — «А». В эту поездку физик не давал нам опомниться, мы исходили пешком центральные улицы и набережные, и даже поздними вечерами физик, а с ним и мы, всё время перебегал от дома к дому, читал, если видел, исторические таблички на них и за пару часов до ночного поезда, к нашему ликованию, вдруг сел на корточки посреди какой-то площади и признался: «Всё! Я смертельно устал, ноги не идут».

Из Ленинграда я привезла домой первую книгу о Пушкине: 9-й том серии «Пушкин. Исследования и материалы». Мне ужасно нравилась в нем статья В. А. Грехнева «Диалог с читателем в романе Пушкина «Евгений Онегин»».

С Герусом мы любили читать друг другу вслух. Первый том красного большого собрания Маяковского, его стихи до 1917 года (других нам было не нужно). Гумилев — несколько стихотворений в хрестоматии по русской литературе конца XIX — начала XX века. Больше знаменитого «Жирифа» мне почему-то нравилось заговорческое:

*О Леконте де Лиле мы с тобой говорили,
О холодном поэте мы грустили с тобой.
Мы не раз открывали шелковистые томы
И читали спокойно и шептали: не тот!*

(Через пару лет я купила в букинисте томик Леконта де Лиля в изнеженной бледно-сиреневой обложке — и не смогла им очароваться).

Так же, как я и Став, Герус писал стихи и рисовал. Ее неточные рифмы сначала удивляли и раздражали меня, потом я приняла их как часть любимого существа, которую бесполезно обсуждать или пытаться изменить. Я счастлива, что время сохранило ее яркие, ни на что не похожие картины: яблоко на подоконнике, «Похороны Большой Мамы» (низкая линия горизонта, на ней лежит, повернув к нам голову, странная кукла, над ней летит стрекоза), черепицы домов, которые мы увидели, взобравшись через чердак на крышу высокого серого дома во 2-м Обыденском переулке. Эта крыша стала нашей Меккой, мы водили туда друзей и даже случайных знакомых. Однажды (нам было лет 19), мы познакомились с каким-то добродушным дядькой, он был слегка под шафе и представился так: «Я личный звукооператор Кобзона». Привели его на крышу, потом шли вместе по Остоженке и набрали вдруг на лежащие прямо на тротуаре два одинаковых раструба водосточных трубы. Мы с Герусом взяли их в руки, как рупоры, и спели лично-му звукооператору Кобзона романс «Графиня, мне приснились Ваши зубы...». Он смотрел на нас, не веря своим глазам, и всё повторял: «Ребята, Вы ангелы! Девчонки, не может быть, вы ангелы!».

Крыша в Обыденском досталась мне в дар от Андрея Ж., друга дома Ольги Евгеньевны, сухого и застенчивого молодого человека лет 25-ти. У него было странное прозвище «Чудовище», прилипшее с детских времен. Пятилетний, он выскакивал на берег моря, весь обвешанный переливающимися изумрудными и коричневыми морскими водорослями, и пытался испугать взрослых: «Я чудовище! Я страшное морское чудовище!».

Моя любимая история из жизни Чудовища. Они опять на юге, но ему уже лет 15. Снимают комнату у караимов, во дворе на цепи большая собака. Вдруг, когда он входит в ворота и пересекает длинный двор, собака бежит прямо на него — цепь, оказывается, отвязана, и Чудовище едва

успеваает впрыгнуть на порог дома и захлопнуть дверь перед самым ее носом. Собака всем телом бьется в прыжке о доски двери, издавая характерный звук шмякающегося куска мокрой глины. Андрей, еще на взводе, не уверовав в то, что спасен, проходит по комнате и нервно поворачивает ручку радиоприемника. Из динамика раздается реплика радиопостановки: «А ЭТО НЕ ОПАСНО?» — и Андрей судорожно выключает радио.

Некоторое время Чудовище совершал со мной по Москве утешительные прогулки. Я тогда была сама не своя, шел 84-й год, и Мишку забрали в армию. Я ревела каждый день, каждый день писала ему письма и похудела за месяц на 12 кг. Вот в эти-то дни Андрей и показал мне крышу во 2-ом Обыденском. Теперь меня занимает вопрос: бывал ли на ней Пятигорский, так захватывающе описавший этот кусочек Остоженки в своей «Истории одного переулка»?

Очень скоро мы с Герусом стали называть друг друга «Толстяк» (в 10-м классе стало понятно, что мы вряд ли будем худышками). Внешне, однако, мы составляли довольно контрастную пару: у меня легко вьющиеся от любого дождя каштановые волосы, глаза болотного цвета, нос с горбинкой. У Геруса огромные прозрачные зеленые глаза, крохотный нос, светлые прямые волосы, широкие скулы (Герус уверяет, что когда мы все вместе фотографировались у Исаакиевского собора, то физик попросил ее сдуть щеки, чтобы был виден собор). Герус обладал редким талантом: он мог втянуть в себя воздух так, что крохотные ноздри прилипали к середине носа и в таком «сложенном» положении (если бы о носах можно было говорить, как о зонтах) продержаться больше минуты.

На первом курсе Герус как-то принес мне свое философское сочинение, начинавшееся по всем правилам толстовской риторики: «Люди бывают красивые и некрасивые. Несчастье красивых людей отличается от несчастья некрасивых...». В этом сочинении Герус сформулировал

свой основополагающий жизненный принцип: «Главное в жизни — не принять форму шара!». Не долго думая, я совершенно согласилась с этой гениальной формулой. И вот до сих пор очень стараюсь.

Помню, однажды мы стояли с ним в очереди за входившими в моду в середине 80-х прозрачными стеклянными чайниками. Один старичок, послушав полчаса наши беседы и усвоив из них, что Машка учит на ромгерме португальский язык, вдруг произнес: «В Бразилии Ваш славянский тип будет пользоваться особой популярностью». Слышать это было невероятно весело: Бразилия до перестройки казалась недостижимее Луны или Марса.

Герус был на месяц младше, но все равно как бы взрослее: уже на втором курсе ей было сделано матримониальное предложение, и хотя оно было решительно отвергнуто, сделавший это предложение Ванечка К., добродушный толстяк, живущий сейчас в Мадриде, все университетские годы оставался ее лучшим другом, а я обожала слушать, как он поет под гитару на латыни «Flevit lepus parvulus» (Плачет зайка серенький...) и песенку про одесского раввина, чья дочка Ента была

*такая тонкая, как шелковая лента,
такая чистая, как мытая посуда,
такая умная, как целый том Талмуда.*

Часто в 10-м классе и годом позже мы ездили к Ольге Евгеньевне вместе с Герусом. Постепенно подружились с Вованом, мужем О.Е. Зимой, в совершенно темные вечера, он провожал нас до автобусной остановки и всегда дожидался нашего автобуса. Иногда ждать приходилось долго-предолго, отлично долго. Весной мы однажды отправились втроем гулять по лесочкам и стройкам Ясенево. Забрались друг за другом в какую-то большую бетонную трубу, было страшно весело, мы все время что-то пели и хохотали, но мой внутренний человек никогда не дремал

даже в такие минуты всепоглощающего счастливого единения, и из трубы я выпрыгнула пулей, потому что Вован полз на корточках следом за мной, а допустить, чтобы наши руки или ноги случайно *соприкоснулись*, я никак не могла, несмотря на все мое обожание.

Вован был физиком, однажды я вызвалась помогать печатать главу его диссертации и вместо заглавия «О случайной поверхности воды» (случайная поверхность — это, оказывается, такой термин) напечатала: «О случайностях на поверхности воды». Все ужасно смеялись и решили поручить дело настоящей машинистке.

Часто Вован уезжал в долгие — полугодовые или многомесячные плавания, и мы получали его телеграммы:

*Шумчик, киска,
Привет из Сан-Франциско!*

*Герус, кулька!
Привет из Акапулько!*

Однажды Вован взял в плавание «Иосифа и его братьев» Томаса Манна. Мы с Герусом, стосковавшись, послали ему телеграмму: «Срочно вылетаем воздушным шаром. Братья Иосифа Гешумы» (уже много лет спустя я однажды купила у тетеньки на станции яблоки только потому, что они были сложены в пакет с понравившимся мне словом ШУМАВАН. Вообще-то я храню этот пакет до сих пор...).

В плаванье Вован сплел из каната люстру в технике макраме, и она, как бородатая медуза, стала украшать одну из комнат их с О. Е. квартиры. В другой раз он привез из путешествия пародию на мое «программное» стихотворение «Качели»:

*Вода течет по ватервейсам,
как будто квакают лягушки.*

*А я на палубе стою
И песню Шумчику пою...*

*От клотика и до бушприта
Судьба моя насквозь прошита.
Но если б море было твердым,
Я прибежал бы к вам по морю,
А если б воздух был летучим,
Я по нему бы прилетел.*

Вован бывал иногда в поэтической студии при журнале «Юность», которой руководил чудесный Кирилл Владимирович Ковальджи, и однажды привел туда и меня. В студии читали стихи по кругу, и когда подошла моя очередь, Кирилл Владимирович выслушал и почему-то сказал: «Какой редкий случай! Лирика часто бывает грустна, и в этом она отражает и саму жизнь. А теперь к нам пришел счастливый человек со счастливыми стихами!». Спустя какое-то время назначили специальное заседание студии, на котором должны были разбираться мои стихи. Из всего этого вечера я запомнила единственный эпизод: почти в самом конце обсуждения Вован вдруг поднял руку и сказал только одну фразу: «А мне в стихах Тани Нешумовой очень нравятся такая строчка: «...А если глазами моргать и руками махать очень быстро...»». Сказал — и сел, ничего больше не добавив. От его слов я вдруг отчетливо представила себе, что же такое я написала (раньше как-то не притормаживала, не слышала себя в этом месте), представила само это действие, «глазами моргать и руками махать очень быстро», и мне стало ужасно весело. Как объяснить это? Одна реплика. Одна строчка крупным планом. И сразу — мгновенное счастье, отменившее все волнение этого вечера, всю невозможность о чем-то думать, всю дорогу от «Юго-Западной» до «Маяковской», когда я только и могла — судорожно перетасовывать листики со своими стихами и, ничего не видя и не соображая, глядеть на пассажиров метро.

*

После 1-го курса Герус отправился в фольклорную экспедицию в Полесье и привез из нее песню, красивее которой я не знаю:

*Вьюн над водой, вьюн над водой,
Вьюн над водой развивается.*

*Жених у ворот, жених у ворот,
Жених у ворот дожидается.*

*Вынесли ему, вынесли ему,
Вынесли ему полон золота сундук.*

*Ой, это не мое, это не мое,
Это не мое, это тестя мово.*

*Вывели ему, вывели ему,
Вывели ему черна-ворона коня.*

*Ой, это не мое, это не мое,
Это не мое, это батьки мово.*

*Вывели ему, вывели ему,
Вывели ему свет Настасьюшку.*

*Ой, это вот мое, это вот мое,
Это вот мое, богом суженое.*

*Вьюн над водой, вьюн над водой,
Вьюн над водой развивается.*

*Жених у ворот, жених у ворот,
Жених у ворот дожидается.*

Медленный ритм, словно струящаяся тихо вода в реке. На бумаге не споешь, разве что нотами запишешь, но на-

до именно петь, негромко и не торопясь, прислушиваясь к каждому слову песни и к самому себе.

Осенью 1983-го, в начале 2-го курса, Машку отправили на картошку, и случилось несчастье. Легковушка, подвозившая ее и нескольких однокурсников с поля к ночлегу, отчего-то перевернулась. Все отделались царапинами, ушибами, а Машка, на заднем сидении в центре, не имевшая возможности ухватиться за что-нибудь, сломала себе шейный позвонок. Ее срочно доставили в московскую больницу и сделали операцию. Послеоперационный период — долгий и тяжелый — лежать надо было в специальном ошейнике, не двигаясь, все волосы на голове перед операцией пришлось сбрить... Когда я вошла в палату, я увидела белый воротничок и человека, превратившегося из моего современника в какую-то неизвестную мне картину Веласкеса, я узнала только Машкины зеленые глаза. И вот начались мои почти ежедневные поездки в больницу, которая располагалась, кажется, где-то на Партизанской. Дорога занимала не меньше часа в один конец, но я умела себя занять: все время пути вертела в руках написанные дома карточки с латинскими словами и их русским переводом. На немецком мы читали текст о Шлимане, который, в юности работая почтальоном, выучил древнегреческий язык, крутя в руках такие же карточки. «Все можно успеть, если очень хотеть и подходить к делу рационально» — хотела назидательно закончить я, но вовремя вспомнила, что от всей латыни у меня остался в голове только дразнительный стишок Катутла «Disertissime Romuli nepotum...», а теперь, когда нужно для книжек, я мучаю своими латинскими и греческими вопросами всегда спасающего меня Гришу Дашевского.

На один из моих дней рождений Машка подарила мне стих:

*Мы живем в такой стране,
где все время дождь и снег.*

*Носим мы пальто и шапку
и платок на голове.
Здесь холодный дует ветер,
Солнца очень теплый луч
Редко-редко вдруг засветит,
Пробиваясь из-за туч.*

Поэтому, дорогая Таня, я тебе желаю:

*Умной, твердой, сильной быть
И ходить всегда в пальто,
Надевать платок и шапку,
Если холодно вокруг,
И поверь, тогда ты будешь
Самый лучший в мире друг!*

Первые две строчки этого стишка я часто вспоминаю, невесело бредя сквозь московские дожди и метели...

...Нам пришлось пережить с Машкой большую ссору, длившуюся несколько лет. За эти годы Герус успел уехать в Америку. У каждой из нас появились семья, дети, заботы. Но острое чувство, что Машка — это моя юность, и что я очень хочу хотя бы иногда видеть родного моего человека, опять повернуло нас друг к другу. Я даже стишок написала тогда: «тридцатипятилетние люди могут встречу назначить друг другу и не на земле...». И — разве это не чудо? — наша мечта сбылась: весной 2004 года мы договорились встретиться в Миланском аэропорту и десять дней путешествовать по Италии.

Милан — Рим — Флоренция — Сорренто — Капри — Рим. Этот маршрут мы разрабатывали сообща, пытаясь как-то согласовать, что я не могу и дня прожить без созерцания итальянской живописи, а Машка мечтает гулять и наслаждаться видами природы.

Когда мы забрались на крышу Миланского собора, Герус бродил и весело отыскивал среди средневековых скульпп-

тур, вылепленных только для Бога, — ибо с земли кто же их увидит? — «секси», а я смотрела на них во все глаза и изумлялась. А у церкви Santa Maria delle Grazie, где Леонардо да Винчи написал «Тайную вечерю», настала Машкина очередь удивляться. Пока мы брели от Пинакотеки Брера и искали эту церковь, я сокрушалась, что у нас всего полтора дня в Милане и мы, конечно, не найдем лягушачьих фонтанов, о которых — все перепутав — писал в римском стихотворении Мандельштам:

*Где лягушки фонтанов, расквакавшись
И разбрызгавшись, больше не спят
И, однажды проснувшись, расплакавшись,
Во всю мочь своих глоток и раковин
Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят...*

(О том, что фонтаны — миланские — я прочитала в комментарии Гаспарова, но о том, где именно их искать в Милане, Михаил Леонович умолчал).

И вот — стоило только вымолвить стихи Мандельштама, как во внутреннем дворике Santa Maria delle Grazie мы увидели розовое дерево в цвету, за которым преспокойно плевались водой в небольшой круглый бассейн четыре бронзовых лягушки — это был именно тот, мандельштамовский, фонтан! — он возник словно по волшебству, сразу после моих слов!

Трудно удержаться и не рассказать тут об одной галантной шутке Михаила Леоновича. Как-то мы столкнулись с ним у окошечка кассы «Советской энциклопедии», получая невеликие наши гонорарные гроши, и я, набравшись смелости, решила обратиться к нему с приветствием и признаться, что «Записи и выписки» — одна из любимых моих книг, что она лежит у меня под подушкой и читается перед сном для духовного утешения (что было чистой правдой;

сработала папина мудрая наука — папа часто внушал мне: люди так легко говорят друг другу гадости и так редко и с трудом говорят хорошее, что если есть возможность сказать человеку доброе, этим надо пользоваться). Михаил Леонович слушал меня, слегка склонив голову, а когда я произнесла фразу: «Я счастлива, что я Ваша современница», — немедленно ответил: «А я счастлив, что я Ваш современник».

В моей студенческой голове Гаспаров и Аверинцев сначала поселились как филологические Диоскуры, близнецы Кастор и Поллукс, — до той, разумеется, поры, пока я не увидела и не услышала их воочию. Несмотря на свою яркую полярность, они почему-то воспринимались парой, полюсами одной недостижимой планки.

Аверинцев жил в соседнем доме на Юго-Западной (о чем я, конечно, узнала не эмпирически, ибо запомнить и идентифицировать встреченного во дворе прохожего я, разумеется, не могла). Впервые я увидела его на той университетской конференции по Средним векам, где девятистолетний Алексей Федорович Лосев все заседание как бы дремал в своей профессорской шапочке на кафедре, и я была абсолютно уверена, что он и вправду спит. Но вдруг после доклада Пиамы Гайденко он встрепенулся и спросил ее: «Скажи, Пиама, а ты читала...» — не помню, конечно, уже, о каком средневековом трактате он задал вопрос, но помню, что Пиама Гайденко растерялась и в моих глазах превратилась на миг из заслуженного ученого в школьницу-отличницу, которая от смущения, что забыла строчку в стихе, одергивает свой накрахмаленный фартучек. Потом мы с Шерчиком бегали слушать Аверинцева в ГИТИС, где он читал курс «Образ античности в европейской культуре». У меня даже сохранились довольно стройные конспекты этих лекций, на тетрадке наклеена уникальная, думаю, зимняя фотография, не помню уже как ко мне попавшая: Аверинцев в шапке пирожком и с сумкой, ремень которой перекинут через спину, под руку с женой пересекает наш

двор. Двор я аккуратно отрезала, остались два очень характерных силуэта. Что я могла усвоить из этого сложного курса в ГИТИСе? Главным были не новые, впервые услышанные от Аверинцева имена, а его манера говорить. Человек смотрел на нас и говорил так, словно у него перед глазами исписанная страница, к концу которой до меня доходила его совершенно неземная ирония. Сама возможность такой речи гипнотизировала. А Гаспаров, напротив, читал лекцию (об искусстве перевода) по бумажке (чтобы победить свое тяжелейшее заикание), но слушать его было необыкновенно легко, потому что излагаемое пленяло стройностью построения, редкой отточенностью формул. Формулы сразу запоминались, вот уже почти 30 лет я помню с той лекции: «Фет переводил Горация мазохически, а Анненский Еврипида садистически».

*

Как далеко я уже забралась в своих воспоминаниях! Читатель, прости мне дельфиний ритм, нырни со мной еще разок в ту глубину безвозвратного «было», где все предметы видятся ярче и мягче, чем — как закончить фразу? чем они были? чем под резким солнцем настоящего? чем, чем...

В нашей новой квартире на Юго-Западной была одна вещь, которую я ужасно боялась, — старинная ножная швейная машинка «Зингер». Чугунная переключательная для ног (на такой же качался, как на качелях, Волчонок из норштейновской «Сказки сказок»). Деревянная снимающаяся крышка — полукруглый гробик, под которым невероятного изящества — красотой превосходящая зрелую женщину в сорок (где надо — тонка, где надо — приятно округла) собственно ножка, металлический корпус, под которым скрывался загадочный швейный механизм. Черного цвета, с золотым узором и готическими таинственными буквами, с серебряной полуовальной

площадкой, прикрывающей шпильную пещеру, — страх жил не тут, а на крышке-гробике. Там сидела и смотрела вперед волшебная женщина-сфинкс. Ее львиные лапы, хвост и орлиные крылья были воплощением магической силы. Нет, наедине с этим существом оставаться было никак нельзя. Я и не пыталась. Как только взрослые уходили из большой комнаты, все пространство становилось царством зингеровского сфинкса и войти туда без провожатых было немыслимо.

Недавно я рассказала об этом страхе Диме Веденяпину. Он огорошил меня вопросом: «Ты теперь поняла этот страх? Разобралась в нем?». А у меня и не было такой задачи: со временем страх исчез, а то, что сфинкс страшен, мне и до сих пор кажется настолько очевидным, что странно искать причин — почему это так.

К области детских страхов нужно добавить два ранних телевизионных впечатления. В кинофильме «Сказка о царе Салтане» меня просто парализовала одна из первых сцен, когда царь отправлялся на войну с дикими племенами: множество карликов или подпрыгивающих на корточках людей в лохматых шкурах. Этот физический ужас, сходный с тем, который внушали древним вурдалаки и лешие — низшие хтонические силы, — не шел ни в какое сравнение с ледяным ужасом от сфинкса: тот означал обычный запрет быть одной в большой комнате, а этот обступал со всех сторон, как море врагов. Фильм я любила, но всегда старалась куда-нибудь деться, чтобы не видеть этих языческих нечистей, заставивших Салтана оставить беременную жену.

Лет в шесть или семь я оказалась одна перед экраном, когда шел пушкинский «Каменный гость» — какая-то театральная постановка, — и то оцепенение при звуках шагов Командора, поднимающегося по лестнице, которое заставило меня всем телом вжаться в спинку нашего старенького серого кресла с деревянными ручками, стало еще одной зарубкой на шкале ужасов, которые я, оказываясь, способна вынести и не умереть немедленно.

В другой раз мой добрый братец взялся пересказывать мне, пока бабушка ушла в магазин, известный рассказ Эдгара По, в котором на бедного героя медленно опускается потолок. В последнюю секунду он успевает выпрыгнуть в окно, но один из пальцев навсегда остается в той страшной комнате. С тех пор я предпочитала не оставаться с братцем наедине, хотя не думаю, что он сознательно хотел испугать меня, скорее — развлечь. Но какое уж там развлечение...

Из мира вещей, кроме вертолетов, я, кажется, больше ничего не боялась — разве меня можно было признать трусихой?

Во времена моего детства церковь Михаила-Архангела была закрыта. Внутри нее располагался какой-то склад. За церковью протянулась деревня Тропарёво, некоторые дворы которой были уже заброшены, и можно было собирать вкусные яблоки в ничейных садах. До второго класса мы с бабушкой ходили в деревню за парным молоком. Я любила эти походы. Перед церковью лежало поле, на обочине которого можно было отыскать сокровища: осколки чашек или блюдец — синий кобальт с золотым ободком. Мы потом с Чехом зарывали такие драгоценности в специальных тайниках, оставляя сверкать глазок, и играли в «сокровища». В деревенской пыли иногда можно было подобрать куриное перо или цветную метелочку. Каждый поход в Тропарёво увеличивал мой сокровищный капитал.

Такой же яблоневый сад был и на месте нынешней гостиницы «Салют» и прилегающего к ней синего дома по проспекту Вернадского. В пятом классе я еще умудрилась испачкать белилами, защищающими стволы яблонь от жуков, свой прекрасный голубой плащ, который мы с Чехом тщетно пытались привести в порядок, прежде чем показаться на глаза бабе Натe.

Она же могла вывести абсолютно любое пятно. Перед выпускным вечером мне было позволено надеть бывшее

мамино льняное с кружевными вставками платье моего любимого до сих пор цвета — слоновой кости. Я накинула поверх платья плащ, в кармане которого с коварной незаметностью протекла шариковая ручка. Пятно на выпускном платье! Но бабушка, не теряя хладнокровия, взяла молоко, окунула на полчаса в него испачканное место, а когда достала, никакого пятна на платье не было. Платье высушили утюгом, и проблема была решена.

За деревней Тропарёво расстился лес, в котором родители любили кататься на лыжах. Мама, веселая, красивая, в связанном ею самой розовом мохеровом свитере, папа с такими марчелловыми бравыми усиками, брат, который катался настолько легко, что позже получил первый спортивный разряд. Весной мы отправлялись в лес пить березовый сок, летом мама лепила мне из чертополоха игрушечных медвежат... Через небольшую речку папа переносил меня на руках. Однажды, когда я была на его руках, с моей ноги слетел в воду башмачок. Его вылавливали длинной палкой, а когда вытащили, оказалось, что в нем плавает маленькая рыбка! Теперь эта маленькая речка, как и Неглинка, заключена в трубу. Чапка сначала весело носилась вокруг нас, а к концу путешествия ее коротенькие лапки уставали, и она еле плелась.

Надо ли объяснять, что, когда в первом классе мы с Чехом, возвращаясь из школы, заметили черный дым за церковью, мы бежали по нашей кривой дворовой дорожке, отчаянно переживая и крича: «Пожар! Наша Родина горит! Наша Родина горит!». Деревня Тропарёво и в самом деле была нашей родиной, а теперь ее уж давно нет на свете, этой деревушки... На ее месте возведены новые элитные дома-трансформеры, а часть Тропарёвского леса исчезла под пятиугольным белым зданием министерства обороны, которое все сразу стали именовать Пентагон.

На берегу Тропарёвского озера мы с Мишкой однажды оказались рано-прерано утром, часа в четыре (такие безумные выходы составляли осевой уклад нашей совмест-

ной жизни). Над поверхностью озера еще стелился туман. Трава на берегу стояла в росе, вокруг не было ни души. Вдруг как из-под земли появился мужик, который подошел к нам и произнес странную фразу: «Ребята, вы это, простите, если что. Понимаете, такое дело: чехол от контрабаса я дома оставил». Смысл фразы дошел до меня, когда через некоторое время он разделся догола и зашел в воду. Мы поспешили домой.

В буфете большой комнаты за стеклом жили диковинные существа, подаренные друзьями или привезенные из-за границы папой (он часто ездил по своим атомным делам в соцстраны, однажды был в Ливии и один раз даже в Лондоне). Одной из таких вещиц была светло-коричневая ракушка, в ее раскрытых створках помещалась целая сценка: домик, речушка, мельница, у которой было даже вертящееся колесо. Рядом с ракушкой стояла деревянная фигурка Бабы-Яги спортивного типа. Пучок серого меха на голове, руки вытянуты вверх и почему-то держат железный пруттик, напоминающий штангу тяжелоатлета. Рядом чешский резиновый гном с фонариком в руке и скандинавский камешек с сидящей на нем бронзовой девушкой, чуть уже зеленоватой от времени. Красный деревянный клоун, все члены которого связывала невидимая резиночка, и, если дотронуться до него, он принимался дергать и руками, и ногами. Венгерская кукла, которая совсем недолго жила в буфете, но очень скоро перекочевала на мамину полку в шкафу, подальше от наших глаз. Это был папин подарок, и мама его берегла. Кукла, и в самом деле, совершенно необыкновенная, с зелеными веселыми глазами и насмешливым взглядом. Она и сейчас на маминой полке — держит фотографию мамы у дома в Ловцах. Там, в приокской деревне, мама по однопрограммному приемнику как-то услышала передачу о цели жизни. И она, защитив диссертацию, родив двоих

детей и вынянчив троих внуков, став уникальным специалистом, которого приглашают на защиту дипломов в МИХМ, вдруг задумалась, какая же ее главная в жизни цель, предназначение. И неожиданно сформулировала: «Всех кормить». В начале 90-х, в самое голодное на моем веку время, наши семьи питались ее пирогами, солениями и вареньями, я кормила детей грудью каждого до года, поглощая мамины рулеты с корицей и запивая их чаем с молоком, а друзья регулярно приходили и приходят к ней на блины, на уху, на котлеты.

Голодные 90-е запомнились двумя случаями. С полуторагодовалым сыном Кикой мы жили на 3-ей Фрунзенской, квартира над военкоматом (когда у стиральной машины «Эврика» вода, переливаясь, заливала пол в ванной, я тешила себя надеждой, что водою зальет и дела призывников и мои потопы принесут человечеству пользу). За хлебом нужно было идти в прекрасную булочную на набережной. Однажды, выйдя к реке, я увидела очередь такой длины, что отстоять в ней нужно было час, а то и полтора. И тут мой рано заговоривший младенец приобнял меня за шею и завопил что есть мочи: «Мамочка! Хлеба! Хлеба!». Услышав крики находчивого малютки, люди в очереди сами расступились перед нами.

Другой раз мы приехали в гости с трехсотграммовым кусочком сыра, и пятилетний сын наших друзей написал в отрывном календаре: «Сырный праздник».

В дедушкиной квартире на Соколе царили другие вещи: основательный шкаф карельской березы с большим зеркалом и заветный дедушкин письменный стол, в верхнем ящике которого лежали две удивительные шариковые ручки. В каждой по 12 цветных стержней — желтый и голубой, коричневый и вишневый... Ручки были довольно толстые, держать их было неудобно, но ведь таких не было ни у кого и нигде! Дедушкин диван был застелен мягким плюшевым ковром, на котором горделивые олени поднимали среди дере-

вьев свои рога, в простенке между дверью и шкафом висела гравюра за стеклом: романтическая девушка бредет по лесу с книгой в руке. Став постарше, я догадалась: Татьяна. За бабушкиной кроватью стоял торшер с двумя голубыми абажурами: лента этого цвета тянулась от одного металлического круга к другому. Этот торшер не казался прекрасным, в отличие от абажура на террасе Голубой дачи. Тот, розовый, с желтой бахромой, был такой формы, что в моих мечтах легко превращался в пышную юбку королевского платья.

На кухне у дедушки стоял книжный шкаф, в детстве меня не очень интересовавший, и буфет, где жила фарфоровая балерина. Она присела поправить развязавшуюся балетку на ноге, по этому случаю высунутой из-под пышных оборок длинного платья. Мне разрешалось вынимать ее и держать в руках, разглядывая тонкие пальчики и нежную шейку. Дома у нас тоже была одна фарфоровая статуэтка: младенец, сидящий на перине и обнимающий подушку. В моем сознании он и был Витольдом, умершим в два года от воспаления легких еще до маминого рождения ее старшим братом.

Кухонная дверь дедушкиной квартиры выходила на балкон, что казалось необъяснимой архитектурной странностью: в моем нормативном детском сознании балконы и лоджии полагались только комнатам, как у нас в квартире на Юго-Западной. Дедушкин балкон с неубедительными чугунными перилами (того и гляди проскочишь, а ведь высоко — пятый этаж) выходил на круглую троллейбусную площадь, неподалеку от которой располагался парк. В этом парке одна детская горка в форме сокола, раскинувшего крылья, была из розового крупитчатого мрамора, и в детстве я не сомневалась, что станция метро называется именем этой небывалой каменной скульптуры.

На дедушкином балкончике было не развернуться. Я помню, как, стоя на нем, курил человек с самыми обаятельными улыбкой и глазами на свете — бабушкин племянник из Иванова, дядя Дима. Дядя Дима был военным

врачом. Сомневаюсь, чтобы я имела с ним хоть одну в жизни беседу, но лучи его глаз и улыбки пребывают в моем сознании непревзойденными никем на земле.

Папин рассказ: Дима шестнадцати лет ушел добровольцем на войну, и все военные годы прослужил в разведбатальоне. Состав этого особого батальона — на броневиках — за время войны сменился несколько раз, и только Дима прошел всю войну без единой царапины. Полковому писарю он специально вручил бутылку водки, чтобы тот представлял его к наградам поскромнее (после войны он не хотел продолжать военную карьеру; закончил медицинскую академию и работал заведующим госпиталя в Восточной Германии, в Эрфурте).

Папа просил Диму рассказать о военных приключениях, но тот всегда отшучивался. «Дим, за что тебе дали первый орден Славы?» — «Ну, из тыла прихватили одну пушку». Или: «Пересекаем шоссе. Слышим звук мотоцикла. Залегли на обочине. В мотоцикле водитель и офицер. Наш лейтенант выскочил на дорогу с пистолетом. Немецкий офицер вышел из мотоцикла и стал стрелять». — «А вы?» — «А мы бежать...». — «А что было самым страшным?» — «Ночью, в разведке — заблудиться, отстав от своих».

Его жена, тетя Женя, выручала маму в самое трудное десятилетие ее жизни. Когда один за другим стали тяжело болеть и уходить старики: первой баба Люся, за ней дед Сергей и последней незабвенная моя баба Ната, Женя приезжала и оставалась пожить с нами на пару недель, один раз в несколько лет, чтобы мама вырвалась куда-нибудь и набралась сил на дальнейшую битву. Своего прекрасного мужа, умершего от рака легких, Женя к этому времени уже похоронила и любила нас, может быть, потому, что мы помнили и любили его, а может быть, и просто так — по безмерной своей доброте.

Маршрут «Юго-Западная — Сокол» с одной пересадкой с красной на зеленую, с «Проспекта Маркса» на «Площадь

Свердлова», был первым моим самостоятельным путешествием по Москве. Разрешили мне отправиться в него только в пятом классе, в том красивом голубом плаще, которого еще не испачкали яблоневые белила.

На обратной дороге ко мне подошел индус (на Юго-Западной негры и индусы вообще были не редкость: посланцы из Африки и Азии учились в институте Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы и жили в общежитии на улице Миклухо-Маклая). Индус спросил, как меня зовут, и, услышав ответ, протянул пачку жевательной резинки. Вернувшись домой, я показала ее брату. Тот пришел в ужас: «Она же может быть отравлена! Иностранцы — шпионы!» — и решительно потребовал, не пробуя жвачки, спустить ее в унитаз, что мы торжественно и сделали. Жалко было! Но что поделаешь: мультфильм «Шпионские страсти», где находчивые и бдительные офицеры Иванов, Петров и Сидоров одерживают трудные победы над хитроумным врагом, мы смотрели вместе, и меня не надо было уговаривать...

*

Когда я закончила второй класс, родители сняли на все лето полдома в деревне Драчёво. Добраться туда можно было двумя способами. Первый — на электричке до города Долгопрудный, а потом автобусом. Мой второй класс — это 1974 год. Если бы это было в 1964, ну — почему бы не пофантазировать — я иду с бабушкой по улице, а мне навстречу длинный старик с огромным лбом над умными глазами — дед Кропивницкий, или кудрявый весельчак с кожаным портфелем (Сапгир, которого я и в самом деле видела тринадцать лет спустя во Дворце молодежи на Фрунзенской — он ходил с тем же набитым кожаным портфелем — выгуливал волнение перед выступлением — огромный зал был набит под завязку, шел 1988, передо мной сидели Юрий Арабов и Нина Искренко и заговорчески перешептывались), или даже лысеющий человек с авоськой

в руках — Яков Абрамович Сатуновский — ведь Лианозово совсем рядом с Долгопрудным.

Автобусы до Драчёво ходили не часто, за время их ожидания я успевала осмотреть все ромашки, растущие у пыльной дороги, и погадать, как научила мама: «Любит — не любит — плюнет — поцелует...» — правда, приложить эти глаголы мне было пока особенно не к кому. Хотя после смешного однодневного детсадовского увлечения Мишкой Х., которого я, видимо, просто пожалела, после того, как он — единственный из мальчишек — не заметил, что в спальню заглянула воспитательница, и продолжал — как и все они за минуту до этого — дурацкое веселое занятие, а именно: стоя спиной к дверям, спускал и вновь одевал трусики, а из девочек, кто спал, кто, позевывая, глядел на этот бессмысленный танец. А я пожалела и на день любила.

Так вот, после этого случая сердце мое довольно долго оставалось свободно, но зима 1973 года подарила мне новую дружбу: мы катались после уроков на ледяной горке возле АТС. И раз, съезжая на ногах по скользкому языку, я вдруг почувствовала, что теряю равновесие, и схватилась за ближайшее тело — оно оказалось моим одноклассником Алешкой Гуляевым. Остаток горки мы съехали, держась друг за друга, и не свалились. Это было здорово. У Алешки были волосы ежиком, и бабушка умела готовить настоящие профитролы — пустые внутри булочки, которые наполнялись изнутри нежным заварным кремом. С Алешкой иногда гуляли, иногда отправлялись в цирк на Ленинских горах, иногда заходили друг к другу в гости. Через два года наш класс разделили на три и сдобрили новенькими чужаками. Он стал учить английский, я немецкий, и дружба наша совсем испарилась. Уже взрослой я узнала от Мишки М., что Алешка, оказывается, весь пятый класс проторчал, стуча чекалочку футбольным мячом, под моими окнами, но я умудрилась этого не заметить. Я вообще существовала

где-то между небом и землей. Когда в 1987 мы познакомились с Ильей Бернштейном из соседнего дома, то оказалось, что, хоть мы 19 лет живем в одном дворе, я его не видела никогда, а он меня давно знает. Я почти все школьные годы просидела за письменным столом, стоящим у окна в наш двор, с третьего этажа был виден каждый прохожий, и как было не заметить этого, который идет с открытой книгой в руках и, читая на ходу, движется медленнее черепахи? — мама Ильи Елена Соломоновна рассказывала, что для того, чтобы пересечь двор, Илье требовалось больше часа. Но я в окно видела совершенно другое:

*Эскориалом стоят дома напротив.
В ночи их вид был страшен и уродлив,
И гибелью влекли они к себе*

— писала я в девятом классе о трех типовых девятиэтажках, замыкавших дворовой пейзаж. Тут уж совсем не до людей. «Это все, Шумчик, подробности», — до сих пор дразнит меня Илья.

Другой путь в Драчёво был захватывающе романтичен. Можно было добраться очень быстро, за 40 минут, на ракете по каналу имени Москвы. Уши закладывало, бешено качало, ракета подпрыгивала. Мне разрешалось смотреть в круглое салонное окно, принимавшее на себя то синюю волну, то белую пену. А от пристани 3 километра пешком. Однажды на дорогу, как рассказывали счастливы-очевидцы, вышли лоси. Горели леса, и они шли по шоссе с людьми.

Приближаясь к дому, мы проходили мимо длинного здания серого деревянного амбара, где хранилось то ли сено, то ли зерно, и заворачивали налево. Два пруда — один побольше, другой поменьше — встречали нас, и минут через пять по правую руку показывался зеленый забор, за которым росли вишневые деревья и стоял наш дом.

Через дорогу у соседей росла желтая отборная малина. Иногда мне разрешали в ней побродить вместе с соседской дочкой, черноволосой Танькой с грубоватым низким голоском. Кусты малины всегда были выше меня. У прудов росла гряда розового иван-чая. В деревенских палисадниках пестрели разноцветные ромашки — их почему-то называли «веселые ребята».

В деревянный туалет сбоку от дома я ходить побаивалась, однажды увидела, как по доскам около него скачет огромная жаба. В сенях, разделенных тонкой, не до потолка фанерной перегородкой (на другой половине жили хозяйева), я любила распевать песни. Бедные люди, сколько же они натерпелись, но ни разу не пожаловались взрослым! Не так поступила моя родная дочь Маша, которая, на третьем году выучившись говорить, однажды решительно пресекла мое пение перед укладыванием на ночь, потребовав категорично: «Не пой!». И я пожалела беднягу, которая два года не могла остановить охочую до песен мамашу и, видимо, здорово мучилась. Это «не пой» Маша повторяла мне не раз позже, от этого мне часто бывало грустно.

Летом 1974 года у меня появился чудесный товарищ, кудрявый, черноволосый, черноглазый Алеша Воронцов. Дедушка почему-то прозвал его Ричард Львиное Сердце. Мы вместе носились по деревне на великах, плавали (я научилась, наконец, именно тем летом). А в 1975-м его семья уже не снимала в Драчёво. И два лета — после третьего и четвертого класса — я провела на велике, но в мечтах о своем Ричарде Львиное Сердце. И я могла ездить бесконечно к церкви, к прудам, вдоль полей и огородов, думая только о том, как он однажды приедет, и я совершенно равнодушно произнесу: «А, это ты? Привет!». Излечила меня от этой летней болезни зашифрованная записка от Васи Иванова, о которой я успела вам уже сообщить.

В Драчёво мне пришлось впервые видеть беспомощного розового неоперившегося птенца, выпавшего

из гнезда. Несмотря на мою заботу — я отдала ему лучшее кукольное одеяние, розовую мохеровую кофту, — он умер. И его пришлось прямо в ней и похоронить. Это были вторые в моей жизни похороны, и первые — в которых я принимала участие. Человека в гробу я увидела тремя годами раньше в Гурзуфе, мне было шесть лет. Мимо наших окон по улице под печальную музыку в черном ящике на белых подушках проносили мужчину, одетого по самой последней моде: в кружевной — темно-синих кружев — рубашке. Слыша пару раз летом в Драчёво на соседней улице грустную эту музыку, я старалась не встречаться с похоронной процессией, но мысли о смерти меня еще ни разу не посещали, и это странное состояние сознания, когда ты вдруг переживаешь парадокс — мысли о своем «я» шевелятся внутри, как черви, — было еще впереди. Начитавшись Азика Азимова, я сравнивала свое новое состояние с чувствами робота, впервые подумавшего о винтиках и колесиках, из которых он сделан, как о чем-то внешнем, таком, на что легко можно взглянуть со стороны.

Помню, как мой пятилетний сын Кика вдруг остановился на углу нашего дома (мы шли со дня рождения) и заговорил одними вопросительными предложениями: «Почему я — это я? Откуда я пришел в этот мир? Почему я сейчас иду по улице? Почему я ваш сын?». Последний вопрос тоже занимал меня в детстве, однако, в совершенно другом смысле: иногда мне казалось, что папа и мама уходят утром не на работу, а к другим своим детям, и что они вообще шпионы. Кажется, я даже вынашивала планы — за осуществление которых так никогда и не взялась — проверить свои безумные догадки.

*...Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины
Мерещится, что мать — не мать,
Что ты — не ты, что дом — чужбина.*

Шум пущенной турбины сознания — да, именно он заговорил тогда в Кике. А своего подобного мига я с такой отчетливостью не помню.

*

Наш юго-западный двор здорово изменился со времен моего детства. Это изменение было бы, может быть, не так заметно, живи мы повыше, скажем, как Чех, на шестом. Но для третьего этажа 44 года не могут пройти бесследно. Деревья под окнами были посажены родителями. И эта береза, которая теперь шелестит макушкой на уровне пятого этажа, и этот каштан, который каждый ветреный день бесцеремонно, как старый приятель и друг дома, постукивает своими костяшками в окно комнаты, где теперь расположен мамин цветник, а раньше — все школьные годы — стоял мой стол. Слева от стола висели книжные полки: такая типовая конструкция, три проволочные панели, на которых закреплялись пять деревянных досок. Под полками — мой диванчик. Когда Мишку забрали в армию, на дно самой нижней доски я приклеила черно-белую фотографию: мы зашли в фотоателье на Ленинском и фотографировались, обмотавшись одним клетчатым шарфом. За два года, которые я просыпалась под этой фотографией, я написала почти 400 писем, а потом прошел еще год, и мы развелись. Спать под книжными полками — не самое безмятежное занятие, но у меня был придуман специальный план, разработанный посекундно: как только я понимаю, что полка, устремляясь вниз, собирается меня убить, применяется особый — молниеносный — метод сбрыкивания с диванчика. Рада, что мне так и не пришлось проверить надежность этого метода.

В этом моем углу (стол, диванчик, полки) чего только не происходило. В пятом классе, когда мне купили набор «Юный химик», я аккуратненько насыпала в пробирку порошок железа, разбавила его водой, плотно закрыла пробирку резиновой пробочкой и стала нагревать на синем пламе-

ни спиртовки. Вы, конечно, понимаете, что очень скоро прогремел взрыв. Да, от нагревания предметы расширяются, заверяю авторитетно: сама проверила. На потолке над столом образовалась внушительных размеров черное пятно. Почему-то в этот день папа пришел с работы первым и решил ликвидировать последствия химической аварии до маминого прихода. «Неси сухую тряпку», — скомандовал он мне, вставая на стул (при папином росте достать до потолка не составляло никакого труда). Я замороженно смотрела, как засохшее со времени взрыва железо исчезает под папиными руками. Когда потолок был отчищен, и пятно на нем бросалось бы в глаза только тем, кто почему-то стал бы его очень пристально разглядывать, мы с папой посмотрели вниз. Было довольно красиво — весь стол и половина дивана покрылись ровным слоем слетевшей при уборке побелки, еще раз подтвердив другой закон мироустройства: ничто не возникает ниоткуда и не исчезает бесследно.

Папа спас меня в тот же год еще один раз. Дело было так: мама показала мне, как вязать крючком, вручила клубок и ушла куда-то. Сама не знаю, как получилось, что к папиному приходу запутавшиеся нитки занимали половину комнаты, и я ничего не могла с ними поделаться. «Главное — методика и терпение», — сказал папа, и, как Тезей, бесстрашно вошел в мой нечаянный лабиринт. Всего-то полчаса, и клубок был смотан, а гордиевы узлы не разрублены, а распутаны — главное ведь методика и терпение.

В мое окно всегда было видно детский сад — в него ходили потом и мои дети — и косую дворовую дорожку, в детстве засыпанную красной кирпичной крошкой, а потом заасфальтированную, наши дворовые клены и горку. Теперь, когда слева от дома построен подземный гараж, угол наклона горки сильно сглажен, и современная ребятня не поверит, что мы съезжали на санках от заборчика детского сада до самого нашего подъезда без особых усилий. Бедные деревца слева от дорожки никогда не могли вырасти — за зиму в них врезались санки бесчисленное число раз. Однажды,

классе во втором, я долго и сильно болела, лежала с высокой температурой недели две. И потом поправилась. Мне разрешили прокатиться на санках. Помню, как я вышла из дома, села на лавочке под подъездным козырьком, вдали было ежевечернее зимнее веселье: ребята, смеясь и крича, катались и играли в царя горы — а я сидела и делала маленькие вдохи и выдохи через шарф. Сил не было совсем.

*

В 1972-м бабушка повезла меня на море в Гурзуф. Мне было шесть. Спустя 33 года, в 2005-м, я заехала в этот город на несколько часов — проверить свои детские воспоминания. Из Судака, где в доме сестер Герцук проходила конференция «Серебряный век в Крыму», мы с Леной Калло и ее пятилетней дочкой Лизой добрались до Гурзуфа на такси. Как передать это чувство? Медвежья глыба Аюдага, которую я всю жизнь помнила с ее левого бока, подставила мне свой правый, тут же показались две ослепительно серые скалы, которые я всегда про себя называла близнецами, открылась вся бухта и городской холм с пестрыми крышами домишек, за которым зеленели, кудрявясь, виноградники.

*Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке:
В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.*

Саму набережную узнать было трудно. Неизбежное зло цивилизации слизнуло своим тупым языком необщие черты этого места, бессильно отступив только перед вечным морским пейзажем с Адаларами и Аюдагом.

В шесть лет я впервые увидела море, кипарисы с их шишками в виде кубиков с гранями, повторяющими линии китайских пагод, деревья магнолии с огромными белыми

цветами, от аромата которых немедленно начинала болеть голова, кусты мальвы, из чьих цветов я быстро выучилась делать кукол: увядающие цветы сами собой заворачивались в косу, а молодые напоминали формой бальное платье, и всего-то и требовалось, что с помощью половинки спички соединить отцветший цветок с цветущим — голову красавицы с ее туловищем.

На море кто-то из детей сообщил мне, что в желто-розовых камнях, устилающих пляж, содержится настоящее золото, и я несколько дней сосредоточенно стучала одним камнем о другой, добывая золотой порошок.

Чеху я рассказывала фантастическую историю о том, что в винограднике меня укусил в коленку желтопузик — ящерица без ног, похожая на змею — думаю, что я ее и не видела, но рассказы старших сделали свое дело, — а сочинив что-то, уже трудно было отделить это от реальности, все легко смешивалось. Эти строчки я пишу на детской площадке, сидя на скамеечке под деревом — начался дождь, и убежища под листьями стали искать не только я, но и змееголовые синички. Они быстро перестали меня опасаться, и только что одна из них присела ко мне на туфельку, передавая привет моему желтопузику.

Однажды мы с бабушкой совершили морскую прогулку: желтое в мелкую клеточку платье с оборками, розовая шерстяная кофта, чтобы не продуло морским ветром, белая пена, то изумрудно-зеленые, то иссиня-черные волны — на корабле так замечательно было считать себя настоящей принцессой. Ялту, куда бабушка привезла меня, я не запомнила вовсе, если не считать сильнеешего впечатления от рыбного рынка. Моя голова плыла вдоль рядов как раз на уровне прилавков с грудками рыб. Их вздымающиеся жабры, остекленевшие красные глаза, открывающиеся рты, серебряная чешуя, их обреченная на смерть масса гипнотизировала меня до такой степени, что все другие впечатления отступили. Ни запахов, ни звуков рынка — ничего. В моем «Грузинском» стихотворении есть строки:

*И я вздрогну, увидев сквозь лица и дым
Лица рыб на уставленном пищею столе*

— видимо, выросшие из этой детской ялтинской оторопи. Может быть, поэтому я так не люблю рыбных натюрмортов в живописи, делая исключение единственной картине Петрова-Водкина, где селедка уже настолько суха, что никаких ассоциаций с влажным и живым не вызывает и потому воспринимается исключительно как чисто живописный объект, символ человеческого, вынужденно аскетического быта гражданской войны.

В Гурзуфе мы жили с маминой подругой Зоей Лебедевой и ее детьми Сережей и Леной. Одиннадцатилетнему Сереже я говорила: «Ты будешь мой Дед Мороз, а я твоя Снегурочка» — довольно странные в летнем морском контексте слова любви. Едва поселившись у хозяйки, мы вышли в пыльный двор, обсаженный разноцветными мальвами, подружился с местной ребятней, и я подарила одной девочке куклу. Через несколько дней я соскучилась и попросила куклу назад. Я не подозревала, что совершаю что-то недопустимое: может быть, это был мой первый в жизни подарок. Но Лена и Сережа встали на защиту бедной моей подружки и объявили мне бойкот. Я не знала ни слова бойкот — и как это бывает грустно, когда с тобой целый день не играют и не разговаривают друзья, — ни того, что дареное нельзя получить назад. Ну что ж, теперь знаю — запомнила свое гурзуфское страдание и недоумение. Задним числом думаю, что это баба Ната, всегда строго бережливая, заметила пропажу моей московской куклы и приказала вернуть ее.

С течением времени тот Гурзуф стал восприниматься, как настоящая сказка: пространство, куда можно нырнуть за счастьем из любой беды.

*В том углу, где окно начинает свой путь до другого угла,
Стопка книг и тетрадей зимуют в твое отступленья*

*От Москвы, где возможно все чувства свои перепутать,
И оставить в углу, и уехать на сером осле
Далеко-далеко,
В голубые кувшины Гурзуфа.
И я лучше тебя понимаю, что нет оснований
Для печали моей. Только где ж
Основанья для счастья?
Ах, пойди разыщи! На осле-то?
Да в этом Гурзуфе?
В голубых-то кувшинах?
Ах, пойди, да пойди ж, разыщи!*

Море в пионерском лагере как-то не было морским. А настоящее море мне досталось спустя 11 лет после Гурзуфа, когда я одна отправилась в Феодосию. Пять дней одиночества, когда я сидела на огромном камне и сочиняла бесконечные стихи. Дорога к моему жилью от моря проходила через какое-то огромное поле, над которым летали жаворонки и стрижи. Именно его я вспоминаю, когда читаю любимейшие строчки Евгения Герфа:

*Серпами черными стрижи
на поле падают со стоном,
и поле платиновой ржи
то бьет поклоны до межи,
то молоком бежит топлёным.
То — струн подробный перебор,
то — волн тяжелых полыханье,
то похоронный слышен хор,
то — просветленное рыданье,
как будто смертный приговор
в себе таит и оправданье.*

Вообще-то я ехала не на пять дней, но проверка характера показала, что дольше без родных и друзей я тогда, в свои семнадцать лет, пребывать не могла.

*

В первый раз поступая на филфак, я не добрала балл. За свое гениальное сочинение на тему «Роль предметно-бытовой детали в прозе Пушкина, Лермонтова, Гоголя» (ну как не вспомнить тут Довлатова: «Сколько времени вам потребуется, чтобы раскрыть тему?» — «Год» — «Мне месяц. А эти идиоты накачают за три часа») я получила тройку из-за орфографических ошибок. Весь год после этого писала диктанты. Следующим летом в моем сочинении не было ни орфографических, ни пунктуационных ошибок, но пятерку мне ставить все-таки не хотели: в работе о рассказе Чехова «Ионыч» усмотрели фактическую ошибку. Я написала, что Ионыча в городе стали звать «поляк». Это было подчеркнуто красным карандашом, и на полях написано: «не поляк, а поляк надутый». В этот раз я поступала на вечерний, и эта четверка погоды не портила. Переживать по поводу своего непоступления в первый год мне пришлось лишь однажды. На Мишкином дне рождения его папа каждому приглашенному задавал вопрос, куда он поступил, где учится. И то, как молчаливо он пропустил меня в своем опросе, мне здорово запомнилось.

Мишка с Буликом скучали в новой институтской жизни по одноклассникам, поэтому они вставали в семь и часа полтора стояли в метро, вылавливая «наших». Так они узнали, что мы с мамой каждое утро ездим к 8:30 на Таганку: мама устроила меня к себе, во ВНИИавтогенмаш, на полставки. На работе от меня ничего не требовалось, зато в моем распоряжении была электрическая печатная машинка, и я три с половиной часа своего рабочего времени или сочиняла Мишке с Буликом письма, или перепечатывала Хармса, Заболоцкого и Юнну Морлиц. Через год Мишка стал встречать меня и по вечерам, когда я возвращалась в полдесятого из университета. Однажды мы прослонялись по дворам довольно долго, и вдруг Мишка вытащил из-под куртки три белых шара — это были хризантемы. До сих пор не могу понять, как

я могла не замечать их целый час прогулки. С тех пор большие белые хризантемы так и остались моими любимыми цветами. Потом я получила от него письмо, где на огромном белом полотне формата А4 были написаны три коротеньких слова о любви и стояла подпись: МЮМ. Потом мы решили, что надо поцеловаться. Обстановку для первого поцелуя мы выбрали, заранее договорившись. Это была огромная лужа у магазина «Польская мода», по размерам она была не меньше гоголевской миргородской. Мы зашли в самую середину — вода была по щиколотку — и поцеловались.

С Мишкой в 17 лет я впервые оказалась в Консерватории. Мы сидели в первом ряду первого амфитеатра, чуть правее середины, у меня был легкий насморк, и я страшно мучилась, что своим сопением мешаю слушать Шопена. Шопена Мишка обожал, знал все ноктюрны, прелюдии, мазурки наизусть, сравнивал пластиночное исполнение (Нейгауз, Рихтер, Виктор Гофман) с живым: Михаил Плетнев, Наум Штаркман, Вера Горностаева, Элисо Вирсаладзе. Моим любимцем стал Штаркман. Внешне он очень походил на одного артиста театра на Таганке, Готлиба Ронинсона: тоненькая шея, небольшой живот, неизменная бабочка. Мишка рассказывал мне, как Шопен написал свой первый концерт и потерял, тогда написал новый, и он стал называться «Концерт № 1», а потом вдруг отыскался первый — и теперь он называется «Концерт № 2».

Когда Мишку забрали в армию, я часами слушала пластинки Шопена, его музыка стала музыкой моей огромной первой любви, настолько запредельной, что она в принципе не могла быть ни разделена, ни утолена. Такие безоглядные, абсолютно всего человека поглощающие чувства не могут вести к счастью. Они берут себе «все». Людям в таких стихиях и места не остается. У меня остались черновики всех моих четырех с лишним сотен писем к Мишке в армию. Слова в них почти никакой роли не играют.

Невероятно обаятельный (мне очень нравилось видеть его смеющимся: весь лоб собирался в морщины, ёжик волос приподнимался над лбом, серые глаза становились пульверизатором добра) и страшно язвительный, строгий и серьезный Мишкин папа Юрий Михайлович был историком, специалистом по США. Помню его в одни и те же часы слушающим по радиоле передачи Би-би-си и «Голоса Америки» — в это время никому не разрешалось его беспокоить. Небольшого роста, ужасно худой, сильно хромящий на одну ногу (полиомиелит), он был старше Мишкиной мамы Ольги Михайловны лет на 15 (увидел ее впервые на волейбольной площадке). Мишка заводил мне пластинку, которую отец привез из Америки — «Дорогой длиною...» на английском. По секрету Мишка рассказывал мне, что любимой песней отца была «Мадам Анжа, мадам Анжа была чертовски хороша...».

Мишка поступил на истфак, видимо, послушавшись советов отца, но учиться не захотел, а на другой год поступил на физфак (отец не помогал, возмущенный Мишкиным разгильдяйством, и тот подготовился сам, без репетиторов). Но главной его страстью был и остался футбол. С восьмого класса (а может быть и раньше) Мишка серьезно занимался футбольной статистикой и историей, записывая все в толстые общие тетради.

Третьей (после футбола и Шопена) гранью Мишкиного джентльменского набора была безграничная любовь к Грузии и грузинам. Это от него я впервые услышала: «Ты опять улетела, свет мой, Цицинатела!» или «Цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет», он бесконечно цитировал «Мимино», обожал грузинские короткометражки, Пиросмани, «Витязя в тигровой шкуре». Этой любовью заразил и меня: и воды Лагидзе (в то блаженное время, когда их стало возможно попробовать в самом центре Москвы, на Старом Арбате, мы уже расстались навеки), и журнал «Литературная Грузия», и Софиико Чиаурели, и Отар Иоселиани, и театр марионеток Резо Габриадзе

(незабвенный, нежнейший спектакль «Альфред и Виолетта» шел, если правильно помню, в студенческом театре МГУ, который в начале 1980-х располагался еще в здании церкви Святой Татианы на улице Герцена), и даже книжка об имеретинском чинке и обычаях Сванетии — все это немедленно, раз узнанное, становилось предметом нашей любви, восторга и одновременно немножко покровительства — так, как мы любили грузин, любят только младших братьев: бережно, горделиво и трепетно. Самоучитель грузинского языка Цибахашвили, фраза с тремя разными согласными «к»: «бакаки цхалши кикинепс» (лягушки квакают в воде), длинные и короткие нарды («шеш-беш, ду бара», — приговаривал Мишка, кидая кости, и я училась персидскому) — шлейф этой любви задел даже такую немислимую деталь: я вдруг вспомнила, как звали одного... преступника — Сосо Варнабович Пхакадзе — его имя я запомнила задолго до Мишки: в седьмом классе пришлось больше часа стоять рядом со стендом «Их разыскивает милиция» на Ленинском проспекте, куда нас, снимая с уроков, «бросали» для встречи каких-нибудь друзей Советского Союза: Ленинский был правительственной трассой, и во время проезда «друзей СССР» надо было размахивать красными флажками. Так вот, о несчастном Сосо Варнабовиче Пхакадзе мне всегда хотелось думать, что раз он грузин, то не злодей, но благородный разбойник.

Болеет Мишка, конечно, за «Динамо» (Тбилиси), гордится тем, что Кипиани — самый интеллигентный тренер, что лучше Коте Махарадзе никто не комментирует футбол («а ты знаешь, что он еще и великий артист?»), что Соткилава — певец мирового уровня, был счастлив, когда лучший друг, Андрей Колесников, воскликнул, увидев его в футбольных трусах: «У тебя же ноги, как у Манучара!» (то есть кривые, как у полузащитника Манучара Мачаидзе).

Болеет в Тбилиси мы летали втроем: Булик, Мишка и я. Играл «Динамо» (Тбилиси) и «Арагат». Исход матча

был отчасти предрешен: себе дороже обыгрывать такого противника на его территории.

Когда в Высшую лигу вышла сельская грузинская команда «Гурия» (Ланчхути), у Мишки был праздник души и именины сердца. Мы полетели болеть за «Гурию» в Кутаиси. Больше я никогда не бывала в этом городе, но мне запомнились уютные деревянные и каменные одно- и двухэтажные дома, увитые плющом и виноградником.

Лимит беззаботности весной 1984-го был исчерпан. Мишке исполнилось 18, и он получил повестку в армию.

Помню, как в конце апреля я пришла к Мишке домой (он жил на последнем, 22-м этаже одного из «крестов») и застала его за следующим занятием: готовясь к армии, он уничтожал свой личный архив, иначе говоря, поставил на паркет перед балконной дверью настольный пластмассовый хоккей, разложил на нем мои письма и поджег. Они быстро вспыхнули, и с ними загорелся игрушечный хоккей. Пламя сразу стало большим, и повалил черный дым. Я предложила сходить за ведром воды в ванную. «Нет, иди сюда!» — позвал Мишка с балкона. Я вошла, как была, в пальто — отчего-то решила послушаться его (умирать так вместе — настроение перед разлукой у нас было убийственное). Мы стояли на балконе и заворожено глядели на пламя. «Слушай! Нельзя! Мы должны спасти твою бабушку. Она же не сможет выйти из квартиры!» — Мишкина бабушка практически ничего не видела, ее комната была напротив Мишкиной. Мне пришлось снять пальто и набросить его на полыхавший огонь — иначе мы бы уже не смогли выскочить с балкона.

Мы выбежали, набрали «01» и увели, стараясь не очень пугать, Мишкину бабушку к соседям. Приехали пожарные. С 21-го этажа мы глядели, как клубы черного дыма и языки пламени вырывались из Мишкиной комнаты, потом их заглушила вода. Потом — о, это надо было снимать в кино! — на балкончик вышел пожарный и устало закурил сигарету.

Выгорела только Мишкина комната, корешки книг на полках были черны. Вечером этого же дня в консерватории играла Элисо Вирсаладзе. И мы — как объяснить, как уложить это в один день? — пошли ее слушать. Я забежала домой принять душ и, когда разделась, увидела в зеркало, что вся моя кожа, кроме мест, плотно облегаемых бельем, была черна от копоти. В консерватории мы сидели на девятом или десятом ряду с левой стороны партера, и произошло еще одно чудо: за минуту до начала концерта прямо к нам, словно он мог знать, где наши места, пришел Шерчик. «Я знал, что вы именно тут. Чувствовал. Позвонил Булику, узнал о пожаре и концерте. А к этим креслам меня сами ноги привели».

За сына, дважды бросившего учебу, Юрий Михайлович принципиально не хотел хлопотать (а мог бы: папа Андрея Колесникова работал в аппарате Президиума Верховного Совета и уж точно повлиял бы, хотя бы при выборе места службы). Ольга Михайловна плакала, но поделаться ничего не могла. В результате через месяц после призыва мы узнали, что Мишка служит на острове Итуруп — одном из островов Курильской гряды, самым близким государством к которому была Япония. Через год Юрий Михайлович выхлопотал себе командировку с лекциями в Южно-Сахалинск и навестил Мишку.

*

На первом курсе нам неслыханно повезло: античную литературу читал Н. А. Федоров, а древнерусскую — Н. И. Либан.

Николай Алексеевич был очень красив. Стройный, с вытянутым одухотворенным лицом, с седеющими уже волосами, артистично зачесанными назад, он поражал воображение рассказами о том, что в античной литературе еще возможны открытия: совсем недавно — в начале 20 века — на египетской помойке нашли папирус с неизвестными комедиями Менандра. На его лекции к нам, вечерникам, приходили дневники: на филфаке 80-х Федоров

читал античку лучше всех, а студенты классического отделения учили латынь по его (и Мирошенковой) учебнику.

Первая зимняя сессия. Первый экзамен — фольклор. Я захожу в кабинет, тяну билет и сажусь за стол готовиться. Исписываю два листа, не волнуясь, потому что всё знаю. Но происходит несчастье: преподаватель встает и проходит вдоль рядов, из полки под моим столом он извлекает стопку мелко исписанных бумажек — так называемые «бомбы» — листы с ответами, которые должны были восприниматься экзаменаторами, как созданные только что. Я ничего о них не подозревала — они остались от студентки, уже успешно сдавшей экзамен. Моему объяснению не поверили, и, несмотря на хороший ответ, поставили тройку. Начинать первую сессию тройкой, предъявлять зачетку с этой отметкой на других экзаменах, было ужасно неприятно. И тем удивительнее была для меня вторая оценка — пятерка по античке. И как раз она досталась мне не вполне заслуженно. За семестр нужно было прочитать заведомо не осваиваемую кучу книг, я очень старалась, но, к сожалению, одолеть все было немислимо. На экзамене мне пришлось признаться, что с трагедиями Еврипида я успела познакомиться только по хрестоматии. Зато учебники изучены были все: и Тронский, и С. И. Радциг (его совершенно безразличного к литературе и языку внука мне пришлось потом учить в школе), и даже Штраль, писавший монографии по Гомеру. Первый вопрос билета был по греческим лирикам. Их я прочла целиком, ужасно любила, отвечала хорошо. Николай Алексеевич был милостив, к тому же, по его просьбе, я пришла на экзамен рано, к десяти часам, отвечала первой и, несмотря на Еврипида по хрестоматии, он поставил мне пятерку. Ставя эту оценку, Н. А. демонстрировал и снисхождение, и непредвзятость: тень моей первой тройки не повлияла на его решение, это был важный урок человечности.

Боюсь, что связного и глубокого рассказа об университетской жизни у меня не получится. В эти годы я еще только научалась быть равной себе, и действительность временами плыла в моем сознании.

Традиции старого московского университета передавал нам Николай Иванович Либан. У него мы не только слушали древнерусскую литературу, но и посещали спецсеминар по «Слову о полку Игореве» (а потом по Карамзину, а потом я три года занималась в его семинарии по Лермонтову). От урока к уроку мы читали «Слово», изучали комментарии В. Ф. Ржиги и С. К. Шамбинаго, пытались толковать отдельные места. Помню чудесный эпизод. Н. И. читает: «И была бы чага по ногате, а кощей по резани». Чага — рабыня, кощей — раб, а ногата — более крупная монета, чем резань. 75-летний Николай Иванович спрашивает у меня, 18-летней: «Татьяна Феликсовна! Почему же чага была по ногате? дороже раба?». Я, хлопая глазами и едва ли не прижимая руки по швам, как солдат-новобранец, отвечаю: «Не знаю, Николай Иванович». «А красота ценилась», — говорит Н. И. и смотрит на меня с улыбкой.

Эти уроки медленного понимающего чтения ни с чем не могут сравниться. Как писал 100 лет назад любимый мой М. О. Гершензон: «Мы все читаем велосипедно. Пройдемся по Пушкину пешком». Именно такими прогулками пешком и были занятия Николая Ивановича. Помню, как он рассказывал нам трогательную повесть о любви Петра и Февронии; апокрифическую легенду о Касьяне, торопящемся на совет к Богу и не пожелавшем запачкать свои белые одежды, когда простой мужик, застрявший в грязи со своей телегой, попросил его помочь, и наказанном тем, что его именины из-за этого празднуются раз в четыре года: 29 февраля.

А как он рассказывал о протопопе Аввакуме! Только с его интонацией я слышу внутри себя: «Долго ли мука сея, протопоп, будет?» — «Марковна, до самая смерти!» — «Добро, Петрович, индо еще побредем».

В каждом рассказе Н. И. почти незаметно педалировал тот или иной нравственный аспект, и лекции его скорее подходили на рассказы сказочника, в них была огромная нетяжелая для слушателя мудрость и завораживающая простота. Литература была о жизни, и лекции Н. И. тоже были о жизни. Он умер, как и хотел, в девяносто пять: телефон свой нам диктовал с мнемоническим правилом: «242-16-95. 242 надо запомнить, 16 — это лучший возраст, а до 95 я хочу дожить». Сейчас, после смерти Н. И., изданы его лекции. Удивительным образом они написаны так, словно Н. И. не выходил из 19-го века, в 20-м не жил и новоязом не пользовался. Такой старый добротный университетский курс. Однако в написанном, может быть, трудно разгадать — для не знавших его — особое обаяние Николая Ивановича. Его главным уроком был урок человечности *par excellence*; приходя к нему часто с нашими завиральными идеями и смехотворными представлениями о жизни, мы постепенно впитывали главное: самая естественная мера — это мера человечности, порядочности, добросовестности.

Три года я посещала его лермонтовский семинарий. Осенние месяцы и декабрь мы слушали Николая Ивановича. На первом же занятии он диктовал и комментировал внушительную библиографию по жизни и творчеству Лермонтова, список тем для курсовых работ, а с февраля начинались наши бои — мы защищали курсовые. На каждую работу членами семинара писалось пять рецензий: по общей проблематике, по языку и стилю, по логике и аргументации, по библиографии и по композиции. Н. И. учил работать, корректно критиковать оппонента, спорить доброжелательно и аргументированно. Три года лермонтовского семинара стали для меня бесценной филологической школой. «Если зайца бить, то он и спички зажигать начнет» — эту грустную поговорку Н. И. любил и напоминал нам.

Однажды я должна была написать общую рецензию на курсовую одной девочки из нашего семинара. Готовясь,

я обнаружила, что большая часть ее работы просто переписана из сборника работ молодых филологов, т.е. украдена. Ни о чем не подозревающие мои коллеги готовили рецензии по языку и стилю, по композиции этой сворованной работы. А я разрывалась: как быть — принципиально сообщить всем истину или промолчать и не закладывать «товарища»? Я позвонила Николаю Ивановичу и рассказала ему о своих мучениях. «А что Вы так переживаете, Татьяна Феликсовна? Воровство работ — это, к сожалению, такая обыкновенная вещь...», — сказал мне Николай Иванович, не давая никакого совета, как быть. И вот — настал семинар. И мне пришлось публично рассказать об обнаруженном воровстве. Это, конечно, шокировало всех, и большинство участников семинара поддержали мою беспощадность. Все мы при этом старались не переходить на личности, оставаться в рамках усвоенного от Либана академического тона... Очевидная вещь, но именно после этой драмы я усвоила урок: ни одной цитаты без ссылки, чтобы никто и никогда не имел повода усомниться в границах моего собственного текста...

Тема моей первой курсовой — «Бытовая поэма Лермонтова «Тамбовская Казначейша»» (я сравнивала ее с «Опасным соседом» Василия Львовича Пушкина и поэмой Байрона «Беппо»). Когда я выступала с докладом на эту тему на научной студенческой конференции, один молодой человек — впоследствии выяснилось, что это был Сережа Панов — не без ехидства задал мне коварный вопрос по «Опасному соседу», действие которого, как известно, происходит в публичном доме. Не помню, справилась ли я с ответом...

Как было бы здорово, если бы осуществилась однажды Сережина мечта, и в сохранившемся допожарном домике Василия Львовича возник бы литературный музей. Сережа уже много лет как ушел из «НЛО», но те годы, пока он возглавлял там отдел истории, журнал был моим любимым чтением. Столь же блестящими были коммен-

тарии в подготовленной им книге дневников Т. С. Зенгер-Цявловской. Мне жаль, что застрял на первых импульсах наш с ним замысел издать скопившиеся в редакции «Русских писателей» внутренние рецензии и записочки В. Э. Вацуру. Сережа предлагал мне работать вместе, и вот почему.

Однажды, сидя с детьми на даче в Кратово и слушая радио «Свобода», я поняла, что прекрасная передача о «Моцарте и Сальери» так и не стала статьей Вадима Эразмовича. Я написала письмо Марио Корти, директору радиостанции, и спросила, сохранилась ли запись передачи, и он отдал мне для расшифровки и публикации кассету с передачей, где В. Э. прекрасно вводил непосвященного читателя в круг проблем, поднимаемых маленькой трагедией. «Новый мир» не захотел почему-то опубликовать этот роскошный текст, и его напечатали в еженедельнике «Литература», приложении к газете «Первое сентября».

Не все планы сбываются, и та отличная книга неизданного Вацуру, которая потом появилась, была задумана и выполнена не совсем так, как это мечталось нам. С В. Э. Вацуру мне лишь однажды пришлось довольно долго говорить по телефону. К моменту разговора я была автором глупейшей рецензии на его изящную книжку об экстравагантной красоте 1820-х годов С. Д. Пономаревой «С. Д. П. Из истории литературного быта пушкинской поры» и бойкой статьи в «Памятных книжных датах» о первом русском романисте румынского происхождения, авторе знаменитых «Писем Эрнеста и Доравры» Федоре Эмине (написать о нем статью предложил мне тот же Сережа, и я, никогда прежде не занимаясь 18 веком, хлестаковски согласилась). Телефон Вадима Эразмовича мне дала Людмила Макаровна Щемелёва, редактор словаря «Русские писатели», человек, которого я числю среди своих филологических учителей.

После защиты диплома (его я писала не у Либана, а у Алексея Михайловича Пескова, потому что к моему

шестому курсу Н. И. вдруг закрыл семинар по Лермонтову и объявил новый — по Короленко. Короленко меня совсем не вдохновлял, и мне пришлось поменять на последнем курсе научного руководителя. К слову сказать, ни разу не пожалела об этом — А. М. был тоже чудесный. Помню, как по-домашнему он шутиливо объяснил нам, почему Ломоносов, Тредьяковский и Сумароков не издавали литературного журнала. Он быстро нарисовал мелком на доске план Санкт-Петербурга, показал на нем адреса этих писателей и объяснил, что им проще было зайти друг к другу в гости и поспорить, чем впрягаться в затейливый труд. А. М. всегда улыбался и потирал руки, довольный тем или иным поворотом разговора), — так вот, после защиты диплома А. М. направил меня (как и всех своих студентов) в редакцию литературы и языка «Советской Энциклопедии», а именно — к редакторам словаря «Русские писатели 1800—1917» Людмиле Макаровне Щемелевой и Николаю Пантелеймоновичу Розину. Л. М. Щ. потрясла меня тем, что для такого зеленого стручка, каким была я — «автор», не написавший ни одной статьи, она принесла из другой комнаты стул и поставила рядом с собой. Не послала за стулом меня, не обратилась к мужчине-редактору, а принесла сама — почему-то это меня невероятно поразило как знак уважения, доверия к моим будущим трудам. Первые две статьи мне заказали такие: о Данилевском (но не о знаменитых славянофиле и романисте, а о писателишке четвертого ряда, растлителе молодых девиц, компиляторе книжечек о почивших в бозе императорах и императрицах, по совместительству — авторе антиклерикальной поэмы, написанной в тюрьме), и его антиподе — чудесном и благороднейшем А. А. Ивановском, прототипе бедного Авросимова в окуджавской повести «Глоток свободы», чиновнике Следственной комиссии по делу о 14 декабря, спасшем арестованного было Грибоедова. Об Ивановском в книге «Сквозь умственные плотины» Вацуро написал целую

главу — «Подвиг честного человека», но был занят теперь другой работой, и статью в словарь «Русские писатели» отдал на откуп молодым авторам. И вот я в Петербурге, впервые в жизни не просто так, по туристической надобности, а по делу: собираю материалы об Ивановском в Пушкинском доме и Публичной библиотеке и звоню Вацуру, страшно робея, и сообщаю о своих трудах. «Дружочек, — вкрадчиво говорит Вацуру, — позвоните-ка мне через полчаса. Я погуляю с собакой и приготовлюсь к разговору». Звоню через полчаса, и В. Э., внимательно выслушав меня, говорит: «Очень хорошо, очень хорошо, а теперь возьмите ручку и запишите, в какие источники еще вам надо заглянуть». И я пишу, пишу, пишу. И это — наш, увы, единственный разговор. Увы! Увы!

*

Как и другие участники семинара Алексея Михайловича, я однажды стояла в пикете против закрытия Ленинской библиотеки (в конце 80-х ее хотели закрыть на несколько лет для проведения ремонтных работ). С одним из организаторов пикета, прекрасным Санюлей, мы подружались.

Люблю вспоминать его рассказ о посещении Ленинской библиотеки времени перестройки. В стране нет ничего. Все — дефицит. В том числе и лампочки в третьем (гуманитарном) читательском зале Ленинской библиотеки. Как же без них читать? И вот Санюля придумывает отличный способ: дома лампочка заботливо укутывается в старый носок, чтобы не разбилась по дороге, уже в носке вкладывается в жестяную банку из-под кофе и в таком виде преспокойненько доставляется в третий зал. Вкручиваешь ее под изумленными взглядами менее находчивых читателей, открываешь свою стопочку книг и забываешь обо всем. Проходит час, другой, третий. За это время соседи по столам успевают смениться. И наступает самая тяжелая минута: в конце работы нужно выкрутить

горячую лампочку (для этого и пригождается домашний носок). И все бы ничего, но теперь люди смотрят на тебя другими глазами: не будешь же всем объяснять, что ты не вор, не государственное имущество похищаешь, а забираешь свою законную собственность.

«Какую это Вы книгу читаете, Александр Александрович?» — «А одну такую книгу», — неизменно отвечает Санюля.

*

Кроме обязательных для студентов курсов, я ходила на два специальных. И оба они — лучшее, чем одарил меня Московский университет. Это были спецкурсы Елиазара Моисеевича Мелетинского и Михаила Викторовича Панова. На Мелетинского мы ходили вместе с Аней Наринской. А еще мы с ней бегали вместе смотреть старые фильмы в «Иллюзионе» (кто помнит еще этих страшных спекулянтов у кинотеатра? раньше ведь ни нищих, ни бомжей мы не видели, а эти билетные фокусники у «Иллюзиона» походили на Лису Алису и Кота Базилио, брейгелевские лица и лохмотья, подойти к ним было страшновато, но что поделать — в кассе билетов нет, а у них всегда!). Помню, как Анька разрыдалась в конце «Белых ночей» Висконти: «Как она могла предпочесть тонкому и нежному Марчелло этого Жана Маре!». А заметили друг друга и стали с ней общаться мы в 1984-м году, на втором курсе, после вопроса испанистки Малиновской, попросившей вдруг на лекции по литературе средних веков: «Поднимите руку, кому знакомо имя Марии Петровых?» — на всем курсе поднялось только наши две руки.

Мелетинский был самым красивым человеком из всех, встреченных мною в жизни. Помню, как уже в начале 2000-х, иногда приходя в Институт Высших Гуманитарных Исследований на конференции или заседания, я старалась сесть

напротив него, чтобы просто и бескорыстно созерцать человеческую красоту. Е. М. был уже не молод, за спиной у него была война (а в ней плен и чудесное избавление от расстрела, о чем он рассказал в своих мемуарах), лагерь, арест в разгар антисемитской кампании 1949 года, полтора года в следственных изоляторах, из них пять с половиной месяцев в одиночной камере, приговор к десяти годам лишения свободы. Освобожден и реабилитирован он был осенью 1954 года. Но об этом страшном опыте Е. М. нам не говорил. От него я впервые услышала это странное слово, похожее звуком на чиканье ножниц: «трикстер». Не знаю, как действуют на других барышень сложные университетские курсы, может быть, я одна такая? не помню ничего конкретного, но главный урок — в созерцании абсолютно прекрасного человека, растворении в его совершенно прекрасной речи, мыслительные ходы которой забылись со временем, но осталась зарубка духовной высоты, которой, оказывается, возможно достичь. А дальше живешь — и пытаешься как-то соотноситься с этим, не совсем уж упадать...

Тогда, слушая Мелетинского, я страшно завидовала своей одногруппнице, приехавшей из Абакана, Зине П.: на последних курсах она устроилась помогать овдовевшему тогда Мелетинскому по хозяйству, а значит, могла получше нас узнать его. Для умной и бедной Зины это была еще и важная смена работы, ведь все зимние сессии ей приходилось сдавать хвосты: иногородняя, она первые годы в Москве служила дворником, и московские снегопады не давали ни отдыха, ни времени для нормальной подготовки к экзаменам.

Михаил Викторович Панов читал курс по русской поэзии. Большая университетская аудитория набивалась очень плотно: послушать Панова приезжали со всей Москвы. Последователь структурализма, М. В. строил убедительные схемы: он показывал, что происходит в конкретной поэтике на фонетическом, на лексическом (смысловом), на синтаксическом «ярусах», а заодно и просто просвещал

нас: тогда, в середине 80-х, и Хлебников, и Сологуб, да и Мандельштам были еще оглушительной новостью.

Помню его удивительные шутки.

Однажды, объяснив нам, чем отличается поэтический неологизм от простого, обычного (простой постепенно перестает им быть, входя в состав основного корпуса языка, а поэтический — ну например «изъиздеваюсь» Маяковского — никогда не ветшает, вечен), Михаил Викторович сказал: «Мне иногда хочется воскликнуть: «Ах, почему я не поэтический неологизм!»».

Как-то раз он заметил, что приключенческий роман строится так же, как ямбическая строчка, если за удачу героя принять ударный слог, а за неудачу, препятствие на пути — безударный. Но, чтобы читатель не заскучал от монотонности такого ритма, иногда встречаются то пиррихии (пропуски ударений), то сверхударные слоги.

На лекции о Маяковском он сообщил: «Готовясь дома, я подумал, не привести ли в этом месте слова Гейне о том, что мир раскололся и трещина прошла через сердце поэта, и... решил не приводить».

Помню и слезы в его голосе. Когда он, рассказав, как Сологуб работал сельским учителем и приходил в школу босым, потому что денег на ботинки не было, читал нам «Алкогольная зыбкая выюга...».

Я хотела бы собрать у тех, кто сохранил, конспекты этого курса и издать отдельной книгой.

Много-много лет спустя я узнала, что М. В. писал стихи (и они изданы), мне довелось преподавать русский в школе по его учебникам, и это был длящийся праздник. Совсем недавно выяснилось, что у молодого М. В. учился фонетике и Вс. Н. Некрасов. Тогда М. В. был совсем тоненький, очень строгий. В мое время М. В. был немного полноват, добродушен (мне ведь не приходилось ему ничего «сдавать»).

Окончив университет, я иногда встречала Панова в Ленинской библиотеке. Даже увидеть его очаровательную розовую лысину по пути в профессорский зал было

для меня счастьем. Юлия Немировская (о ней я сейчас расскажу) очень точно написала: «Младенец Державин и младенец Панов».

*

В университетской поэтической студии «Луч» совершилось одно из самых любимых моих знакомств в жизни. Однажды на круговом чтении я услышала имя: Юлия Немировская. Но ведь это имя мне уже было известно! Еще в школе, классе в девятом, я прочитала в газете «Московский комсомолец» удивительные строчки:

*...И возле гаража
Все стало как на кончике ножа,
И только дождь рассеял эту смуту.
Он покоробил спину мостовой
И площадь растянувшуюся съёжил,
И после август вышел чуть живой,
Отшлепанный сияющей листвой,
На вымытого пуделя похожий.*

Стихи эти появились в рубрике «Родник», которую вела Римма Казакова. Второе стихотворение описывало распространённый обычай начала 80-х: к десятиклассникам пришел с рассказом о своей профессии «милейший старичок» — агитировать поступать именно в его родной институт:

*Но половина класса улыбалась
И обсуждала то, как он одет.*

(к сожалению, не помню этого стихотворения целиком, и Юлия, как недавно выяснилось, тоже его забыла).

И вот оказалось, что Юлия Немировская — вполне реальный человек, девочка с румянцем во всю щеку, с необъяснимым и неповторимым очарованием, маленькая, худенькая, с сухой горячей ладонью, которую я так отчет-

ливо помню в своей руке: мы бежим, опаздывая, на «Альфреда и Виолетту» в театр марионеток Резо Габриадзе, приехавший на гастроли в Москву, а куда именно бежим — я не знаю: туда, куда ведет Юлька.

Из ее жизни этого времени помню только случайные картинки.

*

Юлька работает после филфака в библиотеке какого-то НИИ на Бауманской, я навещаю ее в каком-то старом доме, Юлькина библиотека ютится в малюсенькой комнатке под лестницей. Об этом времени — трудном для любого выпускника, пришедшего с великими планами и грандиозными мечтами и встретившего мир в его грустной косности, — ее стихотворение:

*Ну вот, ты на службе.
Таких ли времен
Ты ждал и к такой ли готовился схватке,
Когда выводил свои буквы в тетрадке
И знал наизусть десять тысяч имен...*

*

Над Юлькиным столом висел портрет Тынянова, она написала диплом о Пушкине, мои самые любимые стихи о Дельвиге:

*Лень
горький свой день весь описать,
Лень
горькую ночь вверить стихам.
Нет, лучше пастушкам и пастухам
Дать в дудочки дуть или плясать.
Пусть
вьются одежд легких края,*

Кушлина вместе с Сережей Стратановским прогуливали нас по городу. Вдруг я остановилась и сказала: «А где же квартировали роты Семеновского полка, где это «Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком»? — «Как где? Вот тут, именно тут, где ты остановилась!» — в один голос воскликнули Сережа и Оля).

О Дельвиге, вернее, не о нем, а о людях, стоящих совсем рядом с ним: о его будущей жене С. М. Дельвиг и ее романе с несчастным Каховским, точнее о литературном языке этого романа была одна из глав моего университетского диплома. В другой главе я пыталась проследить, как повлиял роман Вульпиуса о благородном разбойнике Ринальдо Ринальдини на настроения и поступки мальчика Баратынского: мечты о морской службе, воровство табакерки в доме товарища, за которое Баратынский был исключен из Пажеского корпуса и должен был тянуть солдатскую лямку, чтобы вернуть себе дворянство. Недавно, перечитывая «Пироскаф», я вдруг явственно ощутила связь этого стихотворения с ранним письмом Евгения Абрамовича к маменьке: «Я чувствую, что мне всегда нужно что-либо опасное, что бы меня занимало, — без этого я скучаю. Представьте, моя дорогая, меня на палубе, среди разъяренного моря, бешеную бурю, подвластную мне, доску между мною и смертью, морских чудовищ, дивящихся чудесному орудию — произведению человеческого гения, повелевающего стихиями...»

Мое любимое стихотворение «о Баратынском» тоже написала Юлька:

*Сходила лета пелена:
Пыльца, горячие иголки.
Рассветы ночью и водой
Дышали в окна из лесов.*

*А по лесам бежал чертежник,
И с ним поэт, неся треножник,
Ключи и стрелки от часов.
Все это странные символы,
Как прошептал бы Баратынский,
Но он был сплюснут в белой книге
И серым обведен кружком...*

Юлька писала и о графе Хвостове:

*Жил-был граф Хвостов, жил он в Санкт-
Петербурге,
Он был стихотворец и сам покупал
Стихи свои в городе Санкт-Петербурге
(Там больше никто их и не покупал).*

*Читатель, ты зол. Ты хитрюга, читатель! –
Никто, никогда, никому, ничего.
И утром под дождичком шел покупатель
Добра своего и труда своего.*

*В цилиндре (есть мнение, что без цилиндра)
И с тростью (есть мнение, что без нее),
Он нес, озираясь печально и хитро,
Свой труд и добро дорогое свое.*

*И дома (свидетельства сходятся — дома)
Садился, брал книжную стопку, кряхтя,
И, всё перечтя до последнего тома,
Он сам улыбался себе, как дитя.*

*Так вот. Я, читатели, мненья другого.
Плохой стихотворец, но участь горька.
Пойду и куплю сочиненья Хвостова
И встану, листая его, у ларька.*

*Пуškai он увидит меня, притаится,
Лицом озарится и выкрикнет: так!
И выйдет на Мойку, как важная птица.
Как птица, а все остальное — пустяк.*

После этих стихов я еще более утвердилась в своем желании узнать о Хвостове всё. И когда Санюля, составляя один из номеров альманаха «Лица», спросил, «нет ли у меня чего» — я ответила: «Есть письма графа Хвостова к Погодину» (эти письма я переписала в ОР Ленинской библиотеки, влекомая к графу силой Юлькиной любви). А потом, примерно четверть века спустя, в отделе письменных источников Государственного исторического музея я стала первым читателем допожарных писем Хвостова. Они рассказали о графе много нового и утвердили меня в окончательном выводе: репутация Хвостова как несчастного графомана не могла бы сложиться так последовательно, если бы к этому не приложил руку наш знаменитый баснописец, поэт-министр Иван Иванович Дмитриев. Работа эта моя, давно готовая, пока опубликована лишь на треть и ждет своего часа, надеюсь, все же когда-нибудь увидит свет.

*

Юлька привела меня однажды на заседание научного студенческого общества, где выступал молодой Макс Шапир. Увы, я не запомнила его речей. Помню только общее удивление: мне все казалось, что мы еще дети и наши занятия еще школьные, еще только чуть более основательный, чем в школе, ликбез, а этот человек — и обликом уже не похож на студента: в костюме, в галстукe, с бородой, и речи его совершенно серьезны, основательны. Второй — и последний — раз я видела Шапира в год его смерти, на Гаспаровской конференции в РГГУ весной 2006-го. Далекая от внутрифилологических сражений, я была поражена тем пафосом сопротивления и борьбы, которым

была пронизана речь Максима Ильича. Только что вышел толстенный том Б. И. Ярхо, подготовленный им с коллегами (М. В. Акимовой и И. А. Пильщиковым). «Хотите вы или нет, вы будете читать Ярхо с моими примечаниями!» — заканчивал свое выступление побагровевший от молчаливого отторжения аудитории Шапир. Считающий себя после смерти М. Л. Гаспарова главным стиховедом Н. Н. во время выступления Шапира пробирался к выходу. Стало очевидно, что М. И. и Н. Н. — научные враги. И вот летом — известие о том, что М. И. умер от разрыва сердца — молодым, полным сил, могущим сделать еще столь многое. Не сомневаюсь, что ранняя смерть Шапира — результат его травмы филологическим сообществом, вражды, в которой ему приходилось жить. Хотя никаких деталей этой травмы я не знаю (кроме отраженного на страницах «НЛО»). Но эпизод на Гаспаровке был очень ярким свидетельством тому.

*

Юлька рассказывает, как зимой приезжал Володя Вещевайлов — наш общий друг по студии «Луч». Мне он очень нравился. Свою приязнь я выражала смешным способом: в «Детском мире» на Лубянке в это время продавали надувных голубовато-серых бегемотов, невероятно нелепых. Я часто покупала их и дарила друзьям: Булику, Мишке М., Ставу, Чудовищу и вот — Володе Вещевайлову. Пожалуй, можно даже сказать, что я слегка влюбилась в него. В реальности все наши отношения свелись к единственной прогулке по Москве, которую я долго потом вспоминала. Худой, стройный, весь исполненный желания покорить столичный мир, с волосами бобриком и характерным южным выговором, Володя оставил листочки своей поэмы, из которой я помню какие-то ча-стусечные строки:

*А москалик, москалёк
Задом сел на уголёк.*

*Оттого и говорят:
У него глаза горят.*

Южанин (Ростов?), Володя уезжал на заработки — не кем-нибудь, а шахтером — потом возвращался в снежную Москву, одетый с игопочки, с черным дипломатом, набитым оранжевыми мандаринами, и делал Юльке предложение. И Юлькина мама отвечала ему: «Нет, Володя, моя дочь слишком молода».

*

Помню, как Юлька, я и прекрасная Галя Сергеева (в сердце моем навеки ее стихи, самые свободные стихи из услышанных в 80-е, ее длинная худая нескладная фигура, расцветающий ярким цветком рот и огромные глаза в пол-лица), выбираем в книжном подарок Кириллу Владимировичу Ковальджи, к его юбилею (55 лет). И Юлька пишет мне записочку:

*Извините, мисс,
Все-таки Матисс!*

*

Юлина младшая сестра Маша в эти годы заканчивала 57 школу. Ее учитель математики Аркаша Вайнтроб просит свою ученицу познакомить его со старшей сестрой, чьи стихи и фотография появились в первом «Испытательном стенде» журнала «Юность». Так приходит судьба, и очень скоро после знакомства Юля и Аркаша женятся. Аркаша, милый, чудесный, трогательно заботливый, внешне похожий на хоббита Бильбо Бэггинса, увозит Юльку в Америку. Там он преподает математику, а Юлька — русскую литературу и культуру, долгое время работая в мормонском университете штата Юта. Мои маленькие дети один за другим носили присланную Юлей маечку «Somebody from Utah loves you». Ах, эти маечки начала перестройки! Мой второй

муж, с которым мы прожили 19 лет, отец моих любимых детей Вовка привез в 1987 году из Америки белую майку с красной надписью «Solidarność» — логотипом знаменитого польского профсоюза. Помню, как летом 1988 года мы идем с ним по Старому Арбату — Вовка в джинсах и в этой майке — вдруг к нам подходит совершенно незнакомый человек и дружески пожимает ему руку. Я гордилась этим случаем так, если бы мы и в самом деле были революционерами. Вовка учил польский язык и заразил меня любовью к этой стране. Мы ходили в Лужники в кинотеатр «Рекорд» на ретроспективу фильмов Кшиштофа Занусси (помню, я была страшно удивлена в начале 2000-х, увидев на рекламных растяжках вдоль московских улиц огромными буквами написанную фамилию этого знаменитого польского режиссера. «Неужели культурный уровень моего народа столь велик?» — недоумевала я, ничего не подозревая о знаменитой фирме, выпускающей стиральные машины, к которой Занусси, как впоследствии выяснилось, все же имел какое-то родственное отношение). Но главным, конечно, был все-таки Вайда. В 1988-м где-то на окраине Москвы разрешили и его ретроспективу. Афишу, возвещавшую о ней, всю неделю, в которую крутили фильмы Вайды, загораживал как бы невзначай припаркованный рядом с кинотеатром дальнобойный грузовик. «Человек из мрамора», «Человек из железа», «Пепел», «Канал» — эти фильмы делали меня мной, рассказывали о польской истории, о нашем недавнем еще прошлом. Лех Валенса, Вацлав Гавел — эти имена повторяло и радио «Свобода», которое я стала слушать, потому что его слушал Вовка. Андрей Бабицкий, его репортажи из Чечни и история его похищения переживались как свое, кровное. Однажды в моем почтовом ящике даже оказалось письмо из канцелярии президента России, ответ на мой личный запрос о судьбе Бабицкого. Прекрасный цикл Марио Корти о Сальери, «Москва 2042» Войновича, мемуары Петра Григоренко. Радио «Свобода» сделала меня мной не меньше, чем «живые» учителя и кни-

ги. Забавным образом правозащитная проблематика отразилась в повести о нормано-артезианском бассете, которую писала в 1998 году шестилетняя Маша, моя дочь. Машка обожала зверей. Поставщиком героев был справочник «Собаки», бывший ее настольной книгой. Летевший в самолете бассет с возмущением размышлял о том, почему породистым собакам разрешено летать на авиалайнерах, а дворняжки лишены таких прав. Так переработало детское сознание главный пафос этой радиостанции.

По моей просьбе Юлька — уже из Америки — прислала мне файл со стихами, и Илья Бернштейн сверстал и напечатал вслед за моей «Нептицей» в своем издательстве «А и Б» в серии *Vers libres* и Юлькину «книжечку» — она так и называлась «Моя книжечка» по чудесному Юлькиному стихотворению:

*В булочной-кондитерской
Народу набралось.
А где мое дитяtko? —
Еще не родилось.
А где моя книжечка? —
Не вышла она,
И кому моя книжечка
Окажется нужна?
А мне ваша булочка
Нужна позарез.
Несу ее надкусанную,
Мокрую от слез.*

Других книжечек стихов Юлька так пока и не издала: она с головой ушла в американский студенческий театр, написала толстенный учебник русской культуры, но стихи писать продолжает — и прекрасные. Некоторые из них, по моему предложению, напечатали в «Воздухе» Дмитрий Кузьмин и Вася Бородин на сайте «Полутона».

Жизнь подарила нам счастье большой встречи — в прошлом году мы целую неделю гостили у Юли и Аркаши в Бюре (поселке математиков под Парижем) и убедились в том, что добро иногда получает в мире такое — абсолютное — воплощение, в том, что люди, над головами которых светятся нимбы добра, и вправду существуют.

Девизом моей филологической жизни продолжают оставаться Юлины строчки:

*Дайте мне в эту реку лицо опустить.
Даже тот будет счастлив, кто в реку смотрелся,
Кто узнал, что здесь все на бегу, на лету,
Что и ветер **поднялся**, и костер **разгорелся**.*

2012; 2013.



Моя мама,
Светлана Петровна
Нешумова.
начало 1950-х



Баба Ната,
мама и папа
до нас. 1957



С папой. 1967

С бабуей Натой в коммуналке на Госпитальном валу. 1966





На Госпитальном валу, в Лефортовском парке. Плетусь за братом. 1967



С мамой на крыльце Голубой дачи в Отдыхе. 1968. Эти ступеньки я помню огромными.

Брат, я и другие дети на Голубой даче. 1970.

Мама рассказала, что по соседству жили сыновья Высоцкого и Абрамовой.





С мамой у нашего дома на проспекте Вернадского. Люблю эти фотографии за лопухи и дикие травы, которые тогда росли вдоль дорог. Родные растения.



На границе Марк Твена
и Мопассана — мамина веселая
венгерская кукла. 1970



справа: Детский концерт во ВНИИавтогенмаш.
Палец у рта — я собираюсь играть вальс собственного сочинения. 1973



слева: Мой брат у окна нашей квартиры
(проспект Вернадского, 117) с видом
на деревню Тропарево. Начало 1970-х

справа: В пионерском лагере Аше
под Лазаревской. Немного похожа на Алису
в стране чудес, которая проглотила пирожок.

За маминной спиной швейная машинка «Зингер». У нас на
руках Чапка и кот Мурзик. 1975



«Паприка и Кетчуп». 1976



Первоклашка.
За мной слева Олег Шумаков и Игорь Буланов (Булик). 1972



Папина бабушка Тася, народоволка Таисия Михайловна Акимова после трех лет одиночки. Юрьев (Тарту).



Баба Тася – врач в Якутии.



Папа-студент и баба Тася.
На стене в овальной рамке – портрет Пушкина.



Правительство Севера. Баба Тася
(на ней полосатый пиджак) в
центре. 1930-е.
Справа видна стенгазета
со словом «Енукидзе».



Прадед Мирон Вольфсон, отец бабы Люси. По его учебникам
«Политэкономии» учились студенты двадцатых и тридцатых.



Папина мама,
Елена Михайловна Акимова (1905–1985).
На обороте ее рукой: «Моей дорогой мамочке в память пребывания в Геленджике. 28. IV. 1927».
Я думаю, что бабушка Люся перепутала место палочки при пятерке, и это, конечно, не апрель, а июнь. Родная душа, я тоже все всегда путаю, если для этого находится хоть малейший повод.

Папин папа,
Сергей Иванович Нешумов
(1904–1989).
Мой дед.



Баба Люся. Начало 1930-х



Моя бабушка Ната, Наталья Филипповна Коняхина (1906–1990). 1918



Мамин папа, Петр Константинович Данилевич (1905–1953)



Папины родители: Е.М. Акимова и С.И. Нешумов. Начало 1930-х



Баба Ната. Это о ней мой стих «Счастливая твоя внука».



Мама со своими родителями: молодая бабушка Ната и мой дед, П.К. Данилевич. 1935

Баба Ната (слева)
и моя маленькая
мама (справа)
с родственниками
во дворе дома на
Новослободской.
Весна 1941





Группа оперсостава Тулоперсектора ОГПУ. с командором АВТО ПРОБЕГА
МОСКВА-КАРАКУМ-МОСКВА т. Мирецким и кино оператором т.Тиссэ. Тула 29/IX/1933г.



Группа оперсостава
Тулоперсектора ОГПУ
с командором автопробега
Москва-Каракум-Москва
т. Мирецким
и кинооператором т. Тиссэ.
Дед, П.К. Данилевич,
7-й справа.
Тула, 29.09.1933 г.

П.К. Данилевич (справа).
Считается, что такой суконный
шлем красноармейца
(«буденовка») был разработан
В.М. Васнецовым еще
во время Первой Мировой
войны с памятью
о древнерусском
шеломе с бармицей.



П.К. Данилевич рядом с С.М. Буденным
(слева от него, в фуражке). 1930-е.



Выпуск курсов
Торговых курсов кооператива О.П.У. 1932 г.
Баба Ната – вторая слева во втором ряду.



Дядя Дима, Вадим Воронянский, человек с самой красивой улыбкой на свете. С ним рядом его жена Женя.

Страница моих конспектов лекций С.С. Аверинцева.

Европейской вместо европейской! О. Ронен в таких случаях говорил:

«Бес ошибок и опечаток толкнул меня под руку», а Хармс: «Так это слово выглядит в моем написании!»

С.С. Аверинцев
«Образ анячности в
европейской культуре»



СТИШКИ ПОСЛЕ КНИЖЕК

+++

Сердце сказало: беги, беги –
и убежало.

Едут тяжелые утюги:
безжалостность,
жалость.

Малость какая?
Какая милость?
Просто-ты.
Просты-ня.

Завелось и заглохло.

Племя – пламя –
роди-на –
плоть-ина-
я-род-ня.

+++

«Верните! Юность и нищету»

«Благодать не морошка.
Её не бывает немножко»

Вернули – нищету.

«Пришла свобода дыхания –
нагая к нагому –
как положено»

+++

1.

Воробей Катулла не для меня –
пес мой Шустрик был человек страстей.
На полу на кухне при свете дня
мы сидим в обнимку, забыв детей.

Вот он, камешек смерти, в окно влетел –
и, как миленький, с нами на том полу
лег и не знает, чего хотел
и кто там стоит в углу.

Вот и ты посиди, временной дружок,
посмотри в окно: воробей-катулл
с головой, остриженной в кружок,
в синем воздухе утонул.

2.

Слепая пуля, шерпантин,
неговорящая ракета...
Где Черни подлый? С того света
пошли мне номерок один.

Надев улыбочку простую,
матрона тает на глазах.
Не тронь ты тронутую, тую,
увы и ах.

3.

В руке ненужный поводок,
и в сад открытое окошко,
и по спине бежит дорожка,
и смертный ходит холодок.

Воробей Катулла не для меня –
пес мой Шустрик был человек страстей.
На полу на кухне при свете дня
мы сидим в обнимку, забыв детей.

+++

...я убегаю в лес.
Деревья, чёрные мои собратья,
мне с вами заодно
пока никак нельзя...

+++

А я на две части делю пустоту:
На нежную эту, на страшную ту.
Дмитрий Александрович Пригов

Заболит ли солнце красное как горло
заболит ли горло красное как солнце
съежится листок на подоконце
или голос высохнет как лист
убегут глаза мои что дети
с кем-то соревнуясь в догонялки
подоткни мне одеяльце братец
ты еще читай а я пойду
в сказочку рассказанную на ночь
с карамелькой сладкою во рту
в нежную как Дмитрий Алексаныч
или в страшную его же пустоту.

Барка брака
(«любовная лодка»)

1.

А любовь-то мне выдали с бритвою,
ржавой, тупой.
Не смягчить ее ни молитвами,
ни отравой сухой.

Говорят: иди и тащи мешок,
раз взяла.
А не стой как пугало мокрое,
Раз-зя-ва!

2.

Окоёмный взор птицы,
вывернутая шея жирафа –
мужчина, увидавший красивую женщину.

А я при нём –
не-мир-ович-
дан-чен-ко.

3.

Не применимы к раненой медведице
слова рассудка.

На что она вообще надеется?
Смешная утка!

Смотри, как ходит, переваливается...
Сейчас взлетит!

Чуток рассудок выливается.
Bon appétit!

+++

Павленко, дом 3.
... А люди идут мимо:
к чистому источнику.

2010

+++

Авеля печаль.
Каина печать.

И брата брат поверг.

А поверх -

и млеко
поблекло
и мрак
померк.

+++

Он засыпал и видел, как в кино:
морские женщины в прибрежных кимоно,
их чашечки коленные дрожат,
и сладко погружение на дно
в объятия наяд.

Он утопает в снежном молоке.
У крайней справа шрам на локотке
и серны скверный взгляд.

Взгляд серны сер.
С уступа на уступ
карабкается краб
у оголтелых стоп.

Взгляд серны туп.

Глухой ушастый

Пуд веса в каждом
стихотворении,
в каждом
стихотворении,
в каждом.

Как много пяток
здесь, на луне!
Куинджи, как же.

Идут атлеты-слова, идут
слова-гимнасты.
А ты – то с ними,
то в стороне,

глухой, ушастый.

+++

В растерянном пятистишье не видно слов.
Труд мой истёрт до дыр,
да и сам дыра.
Трудно сказать, кто прав,
И вообще – трудно сказать.
Привычнее – закусить удила.

Le travail mène à la richesse.
Какое уж тут ршес –

в чем мать родила
der arme poète

посылает мне свой привет.
Шпицвег и Аполлинер
Знают наши дела.

+++

Лисички-сестрички приветствуют грибников.
И братец-лис повязал свой шейный платок.
Воздух устал ждать. Он давно готов.

Этот готов. И этот тоже готов.

Ну а теперь и ты в лукошко сам полезай.
Дождик идет. Прекрасно пение птиц.

Бабушка, а почему у Вас такие большие глаза?
Только одни глаза – без слов и ресниц?

+++

куинбус флестрин
кричит зелёный
воротничок

зелёный ворон
зелёный ворон
сидит молчок

зелёный ворон
и чёрный ворон
мне вам идёт?

он молча сядет
верхом на дядю
и повезёт

+++

«Некоторые топят печки,
а некоторые сердца.
Возьму зеленую рыбку за острый хвостик,
воткну ее в волоса.

Как дынная корка автобусная,
дымит смычок.
А я вкушаю анчоусы –
и мне ничё».

+++

Воланчик на полу, волчанник и волнушка,
как вы волнуете, волнуете сердца
и головы кружите
нам, выцветшим, нам, палевым
и полевым волнушкам,
уже не девочкам, не бабушкам ещё.

Соревнованья пудель золотистый
к нам больше не бежит.
Но здесь, в траве, сверкают аметисты
надежд и жизнь жужжит.

Волан Ватто летает высоко,
и о былых победах
в сердцах бренчит струна.
Но побежденным
медаль и лента
уж не нужна.

Здесь каждым утром
всем перламутрам
переучёт.

Ах, эти цыпочки на цыпочках
веснушчатым внучатам
по плечо!..

+++
(центон)

полян зелёная трава
и горечь жизни обыдённой

+++

... и когда все слова заворочались во рту как во сне
понаехали тут
поснимали свои сапоги
ты загнула такие колени-олени-лени
такое загнула
что мулаты и мулы выгнули свои выи
и ты выиграла
кряля
ты выиграла
этот бой

а теперь уходят самые молодые
остаются убелённые старики
мы невзначай опрокидываем кипяток
привет браток
привет
привет
не дрейфь

заснобушка чернобровушка
щавелевая красота
где ты моя щавелевая красотинка
по улицам брела одна
брела и пела
по улицам брела
по улицам брела
и добрела
и подобрела
и расплылась в улыбке лопуха
к коленочке прижалась
и высохла за ночьку

коленичку не вылечив
себя не позабыв
а так
отдала жизнь за други своя

+++

Устала голова болеть,
а сердце недоумеваает:
кто просветит его,
кто спросит:
остекленённое, замученное,
как ты?

Мы ничего, мы так себе,
устали,
мы не хотим,
но душат слёзы нас.

Опять является коричневая Магда
и говорит:
«Вы спитесь, ерунда!»

Вагоны едут: Альпы, Мельпомены.
В них нежный Герус ухо отложил
на завтра, на потом, на музыкальность.

А наше сердце хнычет и болит,
дырявое,
что в лоб ему, что по лбу –
клевет несчастный, на потребу дня.
Такое сумасшедшее создание –
не архитектор, нет, простой зверёк.

+++

если ты уедешь
очень далеко
я увижу сон
что ты тут

если ты не уедешь я буду очень рада
я боюсь остаться одна в этом городе
я боюсь остаться без тебя в этом городе

одна
будет Тибет

будет тебе
будят тебя
Чьти-Миней
чьи-те-миней
будет тебе
тебе

наш договор общественный
призатух
призатух
призатух

подзабыты
затибрены
неупотребимы
словечки наши
словечки наши

вещички наши того

не умеем мы

рыбки высуньте язычки
что за болячки у вас
во рту

искала тапочки и не нашла
получила чужие очки и пошла

послужила

а теперь поработаю

Стихотворения для очень сухой кожи

1.

стопка книг
штопка надежд

2.

дыры смысла
и смысл дыр

3.

сыр любви
с плесенью
со слезой

а вальс с чертовщинкой

4.

не вой
под грузом

5.

ты ковбой
а я конвой

6.

женщины передавали его друг другу
как эстафетную палочку

7.

своим однополчанам я сочувствую

8.

собрала сумку для своей новой одинокой жизни
крем для очень сухой кожи
ноутбук
рукописная книжка Архиппова

потом в течение десяти минут
то бралась за сумку
то отпускала ее

это упражнение тренировало во мне смерть

9.

слезы бессилия иссушают

10.

письмо отправлено
корзина пуста

+++

...Если б ангелы были людьми,
шерсть и хлопок носили на теле
и летели, куда захотели...

Если б толстые люди земли
с облегченьем вдруг похудели
и летели, куда захотели...

+++

в темноте
счастливые глаза
и суровая линия рта

+++

Убегающих слов голуби и голубки.
Улетающих снов золотые скорлупки.

Старомодный стишок

Усердный труженик немотствует весь день,
А жилка на виске танцует.
А баловень любви наводит на плетень
Тень тленную,
Тлетворную,
Иную.

Меж ними ласточка –
Небесный дуралей –
Всё дирижирует и просит,
И к сердцу каждого, как ключик от дверей,
Соломинку-оскоминку
Подносит.

+++

В траве сидит остаток дней.
Но он не думает о ней.
Она – не знает про него.
И жизнь течет из ничего.

+++

Чем лес живет?
Своим умом.
Чем дом живет?
Своим горбом.

А я – ребёнок, мать, отец...

+++

Палочки, корешки и трава.
Муравьи, мухи и комары.
Шишки, лейка и до поры
До времени – рукой подать.

Руку подать и рукою подать,
Вытянуть руку и протянуть.
Медленный ветер свой отгадать.
В медленный ветер нырнуть.

+++

Теряя связь прекрасных ног
с прекрасной головою,
я говорю себе: «Прощай,
орлиный клёкот мой!».

Там дождь укажет хромоте
обочины дороги.
А я в дрожащей темноте
обманчивые ноги

спущу на пол холодных щёк
и попрошу: «прощай ещё»,
теряя связь прекрасных ног
с прекрасной головою.

+++

вы вернетесь
Вы вернетесь

а мы исчезнут

Метафизика пола

Клёвые липы.

Клейкие тополя.

Над именованным указателем

Клён на ветру. Его жёлтая свита
Свита к подножью.
Сеттер по лесу бежит деловито.
Omnia mea! O, Dolce Vita!
Я приближаюсь к концу алфавита.

+++

1.

живи себе
со своим мурлыкающим генримуром

*иди спать,
деспот*

моя судьба быть ото всех отдельным

Ходасевича я люблю дольше, чем тебя.

2.

*Ну не плачь,
Он не прав:*

Ходасевич – неприкосновенный запас.

3.

Ходасевич – не Перельман.
Его можно и ногой.

А тебя никогда не бросала молодая жена?

+++

Старые жёны – как сношенные башмаки:
любимы в душе́.

Молодые – как новые туфли:
сначала нравятся и натирают,
блестят и жмут,
а потом изнашиваются
и на некоторое время становятся родными.

Но твоя судьба быть ото всех отдельным.
Ходи босиком.

+++

воздух не хлюпает

+++

жена
не нужна

или нет

жена
должна:

ПОНИМАТЬ
СКВОЗЬ СЛОВА
И ПОМИМО СЛОВ

раствориться и не мешать
восхищаться и разрешать

вот зачем
она
эта обуза
для остряка
моряка

+++

книга Минович
сначала казалась мне правильным делом
хотя рисунки ее сразу показались очень плохими
грязные цвета и чужие линии
потом было страшно ответственности
как выбирать одни стихи
а другие не пускать в книгу

четыре тысячи стихотворений

потом
когда она стала призывать смерть
а та все не шла
и это длилось годами
и из одной тетради переходило в другую
я стала называть ее
бесплодной смоковницей
но все-таки искала оправдания стиховой инерции
и неряшливости слов
и не умела найти
и теперь мне неоткуда уже взять сочувствие

конечно
я напишу вступительную статью

о человеке, который превратил свое существование
в черновик

+++

мой влажный господин-слуга
на всякий случай я не сплю
ах, ожиданье! для тебя
всё – кислородная подушка
любая девушка – подружка
и все чердачные стога
и белоствольные снега
у бога под подушкой

+++

скажи покажи акажу
эту красную мебель
эту мебель
бельмо
этой мебели
повяжи на глаза мне
чтобы не видеть не знать
чтобы тихо не выть

+++

Все умрут, а я удмрут.

+++

Много забываемого
ты в новостях найдешь:
в шортах подозреваемого
найден швейцарский нож.

*А в рукаве – до кучи –
белогвардейский обрез.
Тихо сиди, поручик,
Тебя обойдутся без.*

Май 2012

+++

Приходили два циклопа
два притопа три прихлопа
воздух
схлопывается
кровь не свёртывается

мамочка
мамочка
где твоя энергетическая рамочка

биополе мое биополе
кто тебя
этими костями
этими дубинками
этими дубками
этими м...ками

воздух
схлопывается
кровь не свёртывается

горяч и горюч
завывает
завывает
позёвывает
остывает

воздух рваный
оборванный
у кого одолженный
суженный

ух
суженый
ух
ряженный

муки муки
мученичество

странное отечество
в паутине отчество
серое паучество
детское ребячество

Июнь 2012

+++

Попеременно Морфей слетает
К ним на подушку:
То джентльмена приобнимает,
А то подружку.

Она не хочет глядеть совместно
На звёздный паус,
Сном от слиянья в вопросе звёздном
Предохраняясь.

Он не разделит с ней ранним утром
Восторг побудки.
Она гуляет одна вдоль моря,
Где даже утки

На камнях нежась, спят очень чутко,
И только чайки
Остервенело стирают в небе
Трусы и майки.

Пока она там вкушает нежность
Нагретых ягод
И дрозд с кукушкой находят прелесть
В ее нарядах,

В интеллигентных очках Гораций
И Сатуновский
Клянут за рюмкой, как святотатцы,
Уклад московский,

А джентльмен тот за столик с ними
Присел сам-третий...

(Во сне чего ведь не происходит
На белом свете)

Она вернется и – ах! всего-то
Поставит чайник –
Как закипают и воды Бренты,
И их начальник...

+++

Л.В.

За чашечкой кофе
в стеклянном кафе
сидели две дамы
на Ше и на Фе,
и долго они говорили

о том, как непрочна порочность
о том, как прочна беспорочность,
о том, как тонули,
как жили на дне,
среди илов и мглов, и одне.

И мглы застилала им толщу воды,
но дамочки в ней умудрялись
бродить, как вслепую, туды и сюды,
а бедствия не испарялись.

И девы купались в парных молоках,
на пальчики дую, на пенки,
белели, как парус во мгле мозговой,
их кроткие лбы и коленки.

И эти завои, завои одне –
Чего только стоит мотивчик!
Так в разные стороны или в одне
уплыли оне, о счастливчик?

+++

На румяных коленях молчаливо улыбки живут.
Рой пылинок прекрасных немецких на солнце горит.
Им нельзя говорить.
Ich bin glücklich.
Nur heute.
Warum?
Ich weiss nicht,
Ich weiss nicht,
Ich weiss nicht,
Ich weiss nicht,
Ich weiss nicht.

+++

сердца у птицелова нет
есть верёвка, камешек, палочка и доска
и еще приманка

палочка хлоп и лежит
падает быстро доска
кровь закипает гляди

птичка
тихо лежит

+++

сварила гречку комсомолка
и угостила феминистку
какая грязная овсянка
но очень вкусная сестричка

+++

Мы гуляем по улицам: смешной джентльмен
и счастливая тётя,
Потакая друг другу во всём, кроме разве что мелочей.
Станем скоро Джейн Остин и Хопкинсом
и отправимся в Ноттингем,
Снимем домик ничей.

+++

ходим как два сапога
по влажной земле одной
ты да я да мы
минуя я-а-мы

вот добредём до дыры
между деревьев и трав
солнышко юбки задрав
катит от нас ко другим
катит и мы так хотим

горькой полыни травы
головы так веселы
олово этих голов
выше наших ушей
выше наших голов
выше наших умов

где бы присесть отдохнуть
где бы хоть постоять
ноженьки протянуть
рученьки переобнять
на небо поглядеть
по небу погулять

+++

Через толщу воды свет.
Голубые лучи расходятся из одной
перемещающейся со мной точки.

«На глубине, где даже Ив Кусто...»
Я думаю о секрете одного человека.
Назначать смыслы,
Обиходное понять как символ,
открыть нам глаза на миф,
кажущийся тщетой и тиной,
и надеяться вместе.
Дима построил дом нашего прошлого.
И мы в нём живём.

+++

Сером глазом чайка не видя смотрит
на кота, что нежит на серых скалах
рыжую спину.

Интересней ей золотая рыбка
в темноте прозрачной воды зелёной
Чёрного моря.

Ну а мне-то что здесь дано запомнить?
Голубую сталь, полинялый выкрик
птицы неблизкой,

на гранитных глыбах, где крапин белых
не увидеть с моря, – прыжок балетный
рыжего фавна?

+++

Под водой на счёт до семи и даже до восьми порой не дышу и вижу царство Нептуна.

+++

Эту ночь ты спишь, ну а мне не спится.
Муравей, и тот своё дело знает.
Ну а я? Обступили меня работы:
«Нас бы закончить...».

+++

ТЫ СПИШЬ
Я ТИХОНЬКО СИЖУ
СИДИШЬ
Я ТИХОНЕЧКО СПЛЮ
ВО СНЕ ТЫ ТИХОНЬКО
ТИХОНЬКО
ТО СПИШЬ
ТО ТИХОНЬКО СИДИШЬ
А Я С ОДЕЯЛОМ ЛЮБИМЫМ
А Я С ОДЕЯЛОМ ЛЮБИМЫМ
А Я С ОДЕЯЛОМ ЛЮБИМЫМ
ТО СПЛЮ ТО ТИХОНЬКО СИЖУ

+++

Возле метро ларёк «Сабвей»
о Хорвате напоминает
о Хорвате напоминает
ларёк сабвей
садок судей
цепочка из троих людей

Всё ничего

У Ханеке в «Любви» два старика живут и умирают.
Мы смотрим, не зная, ждут ли и нас эти страшные
нежность и верность.

А вечером пьём чай в старом доме,
где четвёртый год муж то буен, то тих – Альцгеймер,
а жена гладит кошку, сломавшую лапу, и говорит
«придется скоро с ней расставаться, с бедной»,
рассказывает о Севе Некрасове, которому они всей

группой
в 1956 году хотели купить зимнее пальто,
«от метро ведь долго идти – а у Севы только худой
пиджачок»,

но он отказался,
и о том, как грассировал молодой и язвительный
Михаил Викторович Панов.

А я уже и сама не помню, что он грассировал,
и что одна из рук всегда в перчатке – протез.
Показывая на фотографию Гумилёва, она говорит:
Рахманинов,
но это просто ошибка, с ней пока всё ничего,
всё ничего.

Всё – ничего.

+++

Так хорошо на лавочке у морга.
Осенний день, тепло, и нет дождя.
Спокойные уютные минуты
Перед прощанием. Ещё не все пришли.
Знакомые не смеют сесть на лавки.
А я сижу, и мне читают вслух
Про лавку древностей.

Деревья жёлтые на небе сероватом.
У старых женщин много роз и лилий.
Со мною васильки и Диккенс.
Я никого кроме вдовца не знаю.
Но он ещё в дороге, и про Нелл
Ещё главу успею я послушать.

+++

таковажи,
вопись!
таковажи,
знь!

+++

...уПС! спасательный круг
прыгает на живот –
новосибирский друг –
серый у(р)чит кот:
здесь и сейчас, не в прок,
вот мне его урок
(нежные три кило):
тело с телом – тепло,
а кто обладатель тела –
нет до того дела.

+++

Зимний бог из темноты
Молчаливо бутерброды
Посылает будто броды
Через океан беды.

Сыр забвенья со слезой,
Хлеб беспамятства подсохший,
Примирающий с зимой
И землей окоченевшей.

И идёшь себе во тьме,
Перевариваешь пищу,
По заснеженной стране
К тёплому ещё жилищу.

+++

слова в которых мы живем
то маленькие то большие

в каком-то доме в вышине
какой-то нам непредставимой
сидит и смотрит невредимый

шаг невозможен и другой
такой же шаг невыносимый
и третий шаг невыносимый
они идут а мы стоим
они идут
а мы летаем
они идут
а мы лежим
и долго так лежим

они идут а мы стоим
они идут а мы лежим
они лежат а мы идем

куда идем
туда

они молчат а мы кричим
они молчат а мы мычим
они молчат и мы молчим
и тихо так
в тиши

они мертвы а мы живем
они мертвы а мы еще
они мертвы и мы мертвы

в тиши
куда идем

я полноценный идиот
туда туда где ветер дует
словами говорить как обнимать руками
эпитет подбирать как гладить по лицу
вот теплый летний дождь зимой
автоматических движений рыбацкий ветер в голове

Как устроен мир

Сегодня утром я лежала в своем старом
бразильском гамаке с альманахом
«Премия Андрея Белого» в руках.
В тот момент, когда я прочитала
фразу Виктора Кривулина
«Я вдруг физически ощутил,
что все люди, которые умерли,
на самом деле присутствуют среди нас»,
прямо на гамак присела маленькая птичка
и долго – полминуты – мы покачивались вместе.

Потом я пошла к костру
рассказать об этом Т.К.
Выслушав меня, она сказала:
«Хорошо, что мы совсем не знаем,
как устроен мир».
В этот момент я увидела
невероятной красоты гусеницу
и сказала: «Гусеница».
Зеленая красotka
с коричневой полосой на спине
не спеша подняла голову
и внимательно посмотрела на меня.

Парка

Но самое удивительное
произошло сегодня в метро.
По дороге в РГАЛИ я вязала.
Вязала в вагоне –
и стоя, и – когда появилась возможность – сидя.
Объявили, что поезд следует до станции «Сокол».
Я встала, не переставая вязать,
вышла из вагона со всеми,
вязала, ожидая следующего поезда,
и когда он пришел, на долю секунды подняла глаза,
чтобы не оступиться, входя в вагон.
И тут я услышала голос:
«Не останавливайтесь, продолжайте вязать».
Я вошла в вагон и с изумлением оглянулась.
Это сказала старуха в платке,
но на меня она не стала смотреть
и сразу отвернулась.

Нешумова Татьяна Феликсовна
Глухой ушастый

Авторская редакция

Подписано в печать 20.02.2014.
Формат 60 × 90 1/16. Тираж 500 экз. Заказ №

Дом-музей Марины Цветаевой
121069, Москва, Борисоглебский пер., д. 6
тел. (495) 695-35-43
e-mail dommuseum@mail.ru



Отпечатано в ППП «Типография «Наука»»
121099, г. Москва, Шубинский пер., д. 6.

